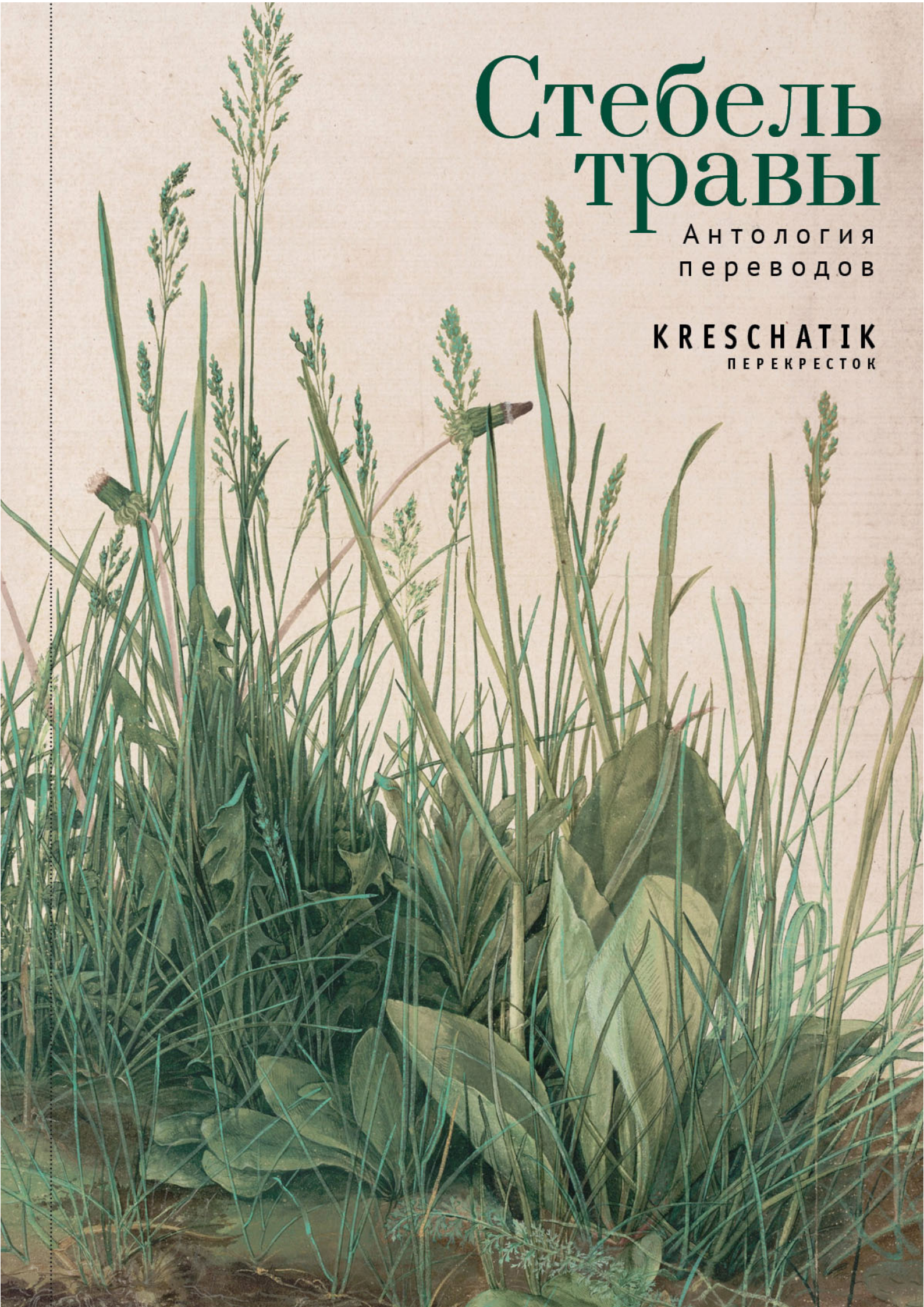
Стебель травы

Антология переводов

KRESCHATIK
ПЕРЕКРЕСТОК



Антология

Стебель травы. Антология переводов поэзии и прозы

«Алетейя»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Антология

Стебель травы. Антология переводов поэзии и прозы / Антология — «Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-277-9

В книгу вошли избранные переводы (как поэтические так и прозаические) опубликованные на страницах журнала «Крещатик» на протяжении почти четверти века его существования. Более семидесяти авторов представляют английскую, американскую, австрийскую, австралийскую, немецкую, французскую, итальянскую, ирландскую, испанскую, латиноамериканскую, литовскую, польскую, белорусскую, датскую, словацкую, украинскую, якутскую и японскую поэзию, а также аргентинскую, болгарскую, иранскую, немецкую, французскую прозу.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00165-277-9

© Антология, 2021
© Алетейя, 2021

Содержание

Из американской поэзии 9
Эми Лоуэлл 9
«Белые лошади луны несутся по небу…» 9
Денизе Левертов 10
Весенняя пора 10
Анонимный автор 11
Кокаиновая Лил 11
Эдгар Ли Мастерс 12
Молчание 12
Брайан Паттен 14
Стебель травы 14
Из польской поэзии 15
Вислава Шимборска 15
К вопросу о статистике 15
Похвала снам 16
Збигнев Херберт 18
Бездна Господина Cogito 18
Из английской поэзии 21
Льюис Кэрролл 21
Охота на Снарка 21
Приступ первый 22
Из американской поэзии 26
Джон Апдайк 26
«Деревья питаются солнцем…» 26
Жар 26
Эдгар Аллан По 28
Эльдорадо 28
Аннабель Ли 28
Из французской поэзии 30
Жак Превер 30
Прогулка Пикассо 30
Из китайской поэзии 32
Лао Цзы 32
От существования – к сущности 32
Из «Книги Пути» 33
18 33
33 33
44 34
67 34
Из английской поэзии 35
Джон Донн 35
«Ты – мой Творец. Твой труд ли пропадет?..» 35
«Смотрите, сэр, как мужественный пламень…» 35
Джон Китс 36
Кузнечик и сверчок 36
Из ирландской поэзии 37

Шеймус Хини 37
Копаем… 37
Персональный геликон 38
Фонарь боярышника 38
Дождь дирижер 39
Мята 39
Из украинской поэзии 41
Николай Луговик 41
Вязание 41
Осенние мытарства 41
Из немецкой поэзии 43
Герлинд Фишер-Диль 43
1. Бонвиван и скромница 43
2. Чувствительный 43
3. Кокетка 43
10. Болтливая 43
11. Чувствительная 43
13. Льстец 44
16. Недоверчивый 44
21. Хвастун 44
22. Эгоист 44
25. Мечтатель 44
26. Фальшивая 44
29. Аскет 45
37. Истеричная 45
38. Влюбленная 45
43. Равнодушный 45
47. Дипломат 45
48. Интеллигент 46
49. Честный 46
50. Обыватель 46
52. Любимец 46
60. Наивная 47
63. Диктатор 47
Гюнтер Грасс 48
Фасоль и груши 48
Открытый шкаф 48
Комариная мука 49
Школа теноров 50
Из немецкой прозы 51
Юдит Герман 51
Хантер – Томпсон – Музыка 51
Из средневековой японской поэзии 59
Кокан Сирэн 59
Осенним днем в полях гуляю 59
Сэссон Юбай 60
В начале осени 60
Дзякусицу Гэнко 61
Забрался в горы 61

Брожу в горах 61
Дзэккай Тюсин 62
А впрочем, где-то есть гора Пэнлай 62
Старый храм 62
Итю Цудзё 63
Сочинил во время вечернего дождя у моста 63
Из итальянской поэзии 64
Винченцо Кардарелли 64
Венецианская осень 64
Из немецкой прозы 66
Уве Копф 66
Алая буква 66
Из латиноамериканской поэзии 70
Хорхе Луис Борхес 70
Трофей 70
Читатель 70
Границы 71
Живущий под угрозой 71
Сесар Вальехо 73
Никто уже не живёт… 73
Желание утихло… 73
Я буду говорить о надежде 73
Из испанской поэзии 75
Хуан Рамон Хименес 75
Зимняя песня 75
Нищие 75
«Несут золотые стрелы…» 75
«Поэзия, рассветная…» 76
Утро в саду 76
Актуальность 76
Любовь 77
Идеальное море 77
Творение 77
Из ирландской поэзии 78
Сэмюэл Беккет 78
Cascando 78
1 78
2 78
3 79
Из польской поэзии 81
Ежи Групиньский 81
Антифона 81
Апостроф 81
Свет 81
Стихи из памяти 81
К читателю 82
Письмо на подоконнике 82
Перо 82
Плод 83

Разговор со стеной 83
Нелюбимая 83
Заклятье 84
Из аргентинской прозы 85
Мануэль Рохас 85
Заказаны, но не пойдут… 85
Мужчина с розой 85
Конец ознакомительного фрагмента. 91

Антология
Составитель Борис Марковский
Стебель травы
Антология переводов поэзии и прозы

* * *

© Авторы переводов, 2021
© Б. Н. Марковский, составление, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Из американской поэзии

Эми Лоуэлл

«Белые лошади луны несутся по небу…»

Белые лошади луны несутся по небу,
Золотыми копытами бьют о стекло небес.
Белые лошади луны – антиподы квадриги Фаэтона
Золотыми копытами бьют о зеленый фарфор небес.
Летите, лошади!
Изо всех сил старайтесь,
Разбрызгивайте молочную пыль звезд,
Пока тигры солнца не слижут вас
Киноварью своих языков.

Перевод с английского А. Хорунжего

Денизе Левертов

Весенняя пора

Красные кроличьи глаза
не грустны. Никто не проплывет уже
в барке мимо печальной золотой деревеньки. Закат
оставит ее в покое. Если
шторы висят косо,
в этом никто не виноват.
Вокруг… вокруг… вокруг
повсюду один и тот же звук
вращающихся колес и вещей,
обещающих стать старше, обещающих
стать тише. Если собаки
перекликаются
всю ночь, и их глаза
вспыхивают красным, то это
никого не касается. Им принадлежит
огромное пространство темноты,
через которое можно обмениваться лаем. Кролики
станут точить зубы на
весеннюю луну.

Перевод с английского. В. Билецкого

Анонимный автор

Кокаиновая Лил

Вы слышали когда-нибудь о Кокаиновой Лил?
Она жила в кокаиновом городе на Кокеин-Хил.
Были у нее кокаиновая собака и кокаиновый кот
И дрались они с кокаиновой крысой каждую ночь напролет.
Были у Лил кокаиновые волосы на кокаиновой голове
И кокаиновое платье, которого нет нигде.
Шляпа с нежными перьями и, как снежный вихрь, белье,
И кокаиновая роза венчала ее пальто.
Золотые фаэтоны на Млечном Пути,
Серебряные змеи, серые слоны,
О, кокаиновый блюз, какая в них грусть!
О, кокаиновый блюз, мне плохо, ну что ж, и пусть!
Однажды холодной ночью отправилась Лил погулять
И там она так нанюхалась, что мне вам не передать.
С Пивной Головою Мэчем был там одурманенный Слим,
Была там Лиза Кэнчкаки и с нею Йен Ши Джин.
Еще и Гашиш Елена, Опиумная Рожа Малыш,
По скользкой взбирались лестнице
И снова катились вниз.
И был там Стремянка Кит
В шесть футов верзила-бандит,
В придачу еще и сестрички
Покмаке Попейте Водички.
Уже под утро, почти к четырем,
Они заискрились самим рождеством.
Пришла Лил домой отдохнуть и поспать,
Да пришлось ей в постели концы отдавать.
Сняли с нее кокаиновое пальто,
С перьями шляпу, кокаиновое белье.
Остался на камне рефрен один:
Жила и ушла из жизни, нюхая кокаин.

Перевод с английского А. Хорунжего

Эдгар Ли Мастерс

Молчание

Я знаю молчание звезд и моря
И молчание города, когда он отдыхает.
И молчание мужчины и девушки,
И молчание, о котором лишь музыка может найти
подходящее слово.
И молчание лесов, прежде чем налетят
весенние ветры,
И молчание больного, когда его глаза странствуют по комнате.
И я спрашиваю: для каких глубин нужен язык?
Степной зверь воет, когда смерть забирает
у него детеныша,
Но мы теряем дар речи перед действительностью,
Мы безмолвствуем,
Есть молчание ненависти
И молчание великой любви,
И молчание глубокого мира памяти,
И молчание омраченной дружбы,
И молчание духовного кризиса,
Пройдя через который, душа попадает в сферу
Более высокого понимания жизни;
И молчание богов, понимающих друг друга без единого слова.
И есть молчание поражения,
Молчание несправедливо наказанных,
И молчание умирающего, чьи руки внезапно сжимают вашу,
И есть молчание отца и сына,
Когда отец не может объяснить свою жизнь,
Даже если бы он не был понят за это.
Есть молчание, которое наступает между мужем и женою.
Есть молчание потерпевших поражение;
И есть безбрежное молчание покоренных наций
и побежденных вождей
Есть молчание Линкольна, думающего о своей
бедной юности,
И молчание Наполеона после Ватерлоо,
И молчание Жанны Д'Арк, объятой пламенем:
«Благословен Христос!»,
Показывающее в двух словах всю скорбь, всю надежду.
И есть молчание возраста, слишком мудрое,
чтобы произнести его
Тем, кто еще не жил.
И есть молчание мертвых,
И если вы, живые, не можете рассказать

О своем опыте, о своей мудрости,
Почему вы удивляетесь тому, что мертвые
не говорят о смерти?

Перевод с английского А. Хорунжего

Брайан Паттен

Стебель травы

Ты просишь у меня стихотворение
Предлагаю тебе стебель травы
Говоришь – это не то
Просишь у меня стихотворение

Я отвечаю что стебель травы подойдет
Он покрыт изморосью
Он более непосредственен
Чем любой из моих образов

Ты говоришь – это не стихотворение
Всего лишь стебель травы а трава
Вовсе не то
И все же вот тебе стебель травы

Ты раздражена
И говоришь – так легко предложить траву
Но это абсурд
Ведь любой может предложить траву

Ты просишь у меня стихотворение
Что ж я написал тебе трагедию
О том как все трудней и трудней
предлагать тебе стебель травы

И о том как по мере твоего созревания
Еще сложнее тебе будет его принять

Перевод с английского А. Хорунжего

Из польской поэзии

Вислава Шимборска

К вопросу о статистике

На сто человек
знающих все лучше
– пятьдесят два,
неуверенных в каждом шаге
– почти все остальные,
готовых помочь,
если это не продолжится долго
– до сорока девяти,
добрых всегда,
ибо не могут иначе
– четыре, ну может пять,
склонных к восхищению без зависти
– восемнадцать,
введенных в заблуждение
молодостью, которая проходит
молодостью, которая проходит
– плюс минус шестьдесят,
тех, с которыми не шутят
– сорок четыре,
живущих в постоянной тревоге
перед кем-то или чем-то
– семьдесят семь,
способных к счастью
– двадцать с чем-то, самое большее,
не опасных по одиночке,
дичающих в толпе
– свыше половины, наверное,
жестоких,
когда их вынуждают обстоятельства
– этого лучше не знать,
даже приблизительно,
умных после неудачи
– немногим больше,
чем умных перед неудачей,
ничего не берущих от жизни, кроме вещей
– тридцать,
хотя хотелось бы ошибиться,
съежившихся, изболевшихся
и без фонарика в темноте

– восемьдесят три
раньше или позже,
справедливых
– достаточно много, ибо тридцать пять,
если же эта добродетель соединяется
с усилием понимания
– три,
достойных сочувствия
– девяносто девять,
смертных
– сто из ста.
Число, которое до сих пор не поддается изменению.

Похвала снам

Во сне
я пишу как Вермеер Дельфтский.

Я бегло говорю по-гречески
и не только с живыми.
Я веду машину,
которая мне послушна.

Я талантлива,
я сочиняю большие поэмы.
Я слышу голоса
не хуже чем серьезные святые.

Вы были бы поражены
блеску моей игры на фортепиано.

Я убегаю как должно,
то есть из самой себя.

Падая с крыши,
я умею мягко упасть в зелень.

Мне не трудно
дышать под водой.

Я не сетую:
мне удалось открыть Атлантиду.

Меня радует, что перед смертью
всегда я могу проснуться.

Тотчас же после начала войны

я поворачиваюсь на бок поудобней.

Я дитя эпохи,
но не обязана быть им.
Несколько лет тому
я видела два солнца.

А позавчера – пингвина.
Совершенно отчетливо.

Збигнев Херберт

Бездна Господина Cogito

Дома всегда безопасно
но сразу же за порогом
когда утром Господин Cogito
выходит на прогулку

перед ним – бездна
это не бездна Паскаля
это не бездна Достоевского
это бездна
по мерке Господина Cogito

ее особая черта
это и ни бездонность
и ни пробужденье ужаса

она следует за ним как тень
придерживает шаг перед булочной
в парке через плечо Господина Cogito
читает с ним газету

тягостная как экзема
привязчивая как собака
слишком мелкая чтобы поглотить
голову руки и ноги

быть может когда-нибудь
бездна вырастет
бездна дозреет
и станет серьезной

если бы только знать
какую пьет она воду
каким ее кормить зерном

сейчас
Господин Cogito
мог бы набрать
пару горстей песка
засыпать ее
но не делает этого

итак когда

он возвращается домой
он оставляет бездну
за порогом
старательно прикрывая ее
куском старой материи.

Господин Cogito
и чистая мысль

Господин Cogito стремится
достичь чистой мысли
хотя бы перед засыпанием

но уже само стремление носит
в себе зародыш краха
оттого-то когда он доходит
до состояния что мысль уже как вода
большая и чистая вода
у равнодушного берега

вода вдруг рябит
и волна приносит
консервные банки
полено
пучок чьих-то волос

вправду сказать Господин Cogito
не совсем без вины
он не мог оторвать

свой внутренний взор
от почтового ящика
в ноздрях его был запах моря
сверчки щекотали ухо
и он чувствовал ребрами пальцы отсутствующей

он был обычный такой как другие
меблированные мысли
кожа руки на ручке стула
след нежности
на щеке

когда-нибудь
когда-нибудь позже
когда он остынет
он достигнет состояния ***catoqu***

и будет как рекомендуют учители
пуст и

удивителен

Перевод с польского В. Барского

Из английской поэзии

Льюис Кэрролл

Охота на Снарка

ТД

е

ρ

з

а

н

и

е

в

восьми

приступах

Предисловие переводчика

Досужий читатель!.. Обращаюсь к тебе в надежде, что ты отринешь страсти, обуревающие героев поэмы, хотя бы на время чтения. Это необходимо, ибо иначе ты упрекнешь знаменитого автора «Алисы в стране чудес» в бездарности, а произведение его уподобишь пустому кривлянию, чем еще раз повторишь традиционную ошибку отечественного литературоведения.

Но не зря же с 1876 года, когда была опубликована поэма, она дарит крылатые фразы для цитат и эпиграфов, имена ее персонажей становятся названиями яхт, гостиниц и т. д.

Что такое Снарк? – гадают не только герои Кэролла, но и легион исследователей. Несть числа объяснениям этого слова (любимое – сочетание дракона с акулой). Толкований самой поэмы еще больше – от философских сопоставлений с гегелевским абсолютом до намеков на конкретные клубные скандалы. Объединяет все эти версии одно – охота на Снарка, которая, как ведётся, пуще неволи. Автор, говорят, справедливо считал свою поэму годной на все случаи жизни.

Предлагаемый перевод концептуально соответствует оригиналу, однако почти не превращает Йонаса-Пронаса в Иванушку-дурачка. Так, переложив большинство слов-нонсенсов, я сохранил природные названия всяческих чудовищ. Прежним осталось имя капитана команды, отправившейся в поход за Снарком – имя бравого Белмана. Так назывались глашатаи, скликавшие колокольчиками горожан. Моряки же в колокол (bell) «били склянки», отмеряя время. И Белман Кэрролла неумолчно звонит в свой единственный навигационный прибор – колокол – и всех торопит.

Не будем же и мы мешкать. Итак:

(отрывок)

Приступ первый
Высадка

«Вот где должен быть Снарк!» – так Белман гласил
И, думой заботливой полн,
Для высадки в волосы людям вкрутил
По пальцу над гребнями волн.

«Вот где должен быть Снарк! – Я вновь говорю.
Даже так экипаж поддержу!
Вот где должен быть Снарк! – в третий раз повторю.

Всё правда, что трижды скажу!»

Был Чистильщик обуви принят в отряд,
Был Шляпник неистовый взят;
Оценщик ценил их добро – всё подряд,
А в спорах мирил Адвокат.

Побольше, чем ставил, выигрывать мог
Игрок на бильярде отличный,
Но общие средства надежно берег
Банкир, к миллиардам привычный.

Бобёр был на палубе или вязал,
Примостясь на носу, кружева.
Он спасал от крушений (так Белман сказал),
Но как – не узнала братва.

А один в экипаже взял уйму поклажи,
Но забыли ее при посадке —
И кольца, и перстни, и зонтик, и даже
Походный костюм и перчатки.

Свое имя на все сорок два сундука
Нанес он, как будто печать.
Намекни он об этом – и наверняка
Решили б их с берега взять.

Он скорбел о былом гардеробе своем:
Ведь пальто лишь семь штук нацепил,
Да ботинок три пары. Но истинным злом
Было то, что он имя забыл.

Откликался на «Эй!» и на «Парень, скорей!» —
На любой громкий окрик и брань;
На «Валяй!», на «Мотай», на «Медяшку задрай»
Но особо – на «Дай эту дрянь!»

Но для умных голов, для ловцов крепких слов
Имена он иные носил:
Он для друга в ночи был «Огарок свечи»,
Для врага – «Недоеденный сыр».

«Да, он толст, неуклюж, и умишком не дюж, —
Белман часто говаривал так, —
Но ведь редкий храбрец! И важнее, к тому ж,
Что ему позарез нужен Снарк!»

Он гиенам на взгляды шутя отвечал
И беспечно качал головой,

А однажды с медведем под ручку гулял,
Чтоб поднять его дух боевой.

Он Пекарем стал и не скрыл свою грусть:
Печь он мог только свадебный торт.
Капитан чуть не спятил – не взяли, клянусь,
Подходящих припасов на борт!

О последнем в команде особый рассказ:
Редчайший по виду болван
Жил одною идеей – о Снарке, и враз
Зачислил его капитан.

Он стал Мясником. Но, угрюм и суров,
Признался неделю спустя,
Что умеет разделывать только бобров.
Добрый Белман дрожал не шутя.

Еле вымолвил он, отступив на корму,
Что Бобер лишь один, да и тот
Его личный, ручной, чья кончина ему
Глубокую скорбь принесет.

Бобер, услыхавший про гибель свою,
Был новостью жуткой сражен
И плакал, что Снарком, добытым в бою,
Уже не утешится он.

Но тщетно он требовал для Мясника
Отдельное судно найти —
Ведь Белман не стал бы менять ни штриха
В намеченных планах пути.

Навигация трудным искусством слывет
Даже для одного корабля,
Где один только колокол. Вряд ли в поход
Он бы вёл, подопечных деля.

Бобра защитить, преуспев в дешевизне,
Кольчугой подержанной можно! —
Так Пекарь считал. Страхование жизни
Казалось Банкиру надежней.

Он мог замечательных полисов пару
Продать или дать напрокат
Один – от ущерба на случай пожара,
Другой – если выпадет град.

С тех пор, после этого скорбного дня,

Если близко Мясник проходил,
Бобер, даже глаз не пытался поднять,
Непривычно робел и грустил.

Перевод с английского С. Воля

Из американской поэзии

Джон Апдайк

«Деревья питаются солнцем…»

Деревья
питаются солнцем
Это факт:
их широкие листья лакают солнце, как молоко
и превращают его в ветки.
Рыбы поедают рыб.
Лампочки едят свет,
и, когда их пир истребляет все припасы
накальной нити —
гаснут.

Так же и мы,
как и все милые создания —
коты едят коней, кони – траву, трава – землю,
земля – воду —
все кроме Далекого Человека,

который вдыхает ароматы душ —
давайте все постараемся походить на этого гиганта!

Жар

Я вернулся с хорошими новостями из страны озноба и
температуры 39,9:
Бог существует.
Прежде мне всерьез приходилось в этом сомневаться;
но ножки кровати говорили об этом с предельной
откровенностью,
нитки в моем одеяле считали это само собой разумеющимся,
дерево за окном отклоняло все жалобы,
и я уже много лет не спал таким праведным сном.
Трудно, пожалуй, выразить теперь
до чего эмблематичны были отражения вещей
на мембранах сознания;
но давно известна истина:
есть тайны, сокрытые от здоровья.

Перевод с английского В. Билецкого

Эдгар Аллан По

Эльдорадо

Рыцарь в броне
Скакал на коне,
Сверкая блеском наряда.
Ночью и днем
Он пел об одном,
Пел о стране Эльдорадо.

С годами остыл
Неистовый пыл
И на сердце легла прохлада.
Он весь мир обошел,
Но нигде не нашел,
Нигде не нашел Эльдорадо.

Встал он без сил
И тень вопросил,
Блуждавшую у водопада:
«Поведай же мне,
В какой стороне
Искать теперь Эльдорадо?»

И слышит от ней:
«В Долину Теней,
Не сводя горящего взгляда,
Днем и в ночи,
Рыцарь, скачи,
Если ищешь ты Эльдорадо».

Перевод с английского С. Степанова

Аннабель Ли

Это было давно, много весен назад,
В королевстве у края земли.
Там прохладное море и алый закат,
Там жила моя Аннабель Ли.
И она наслаждалась лишь мыслью одной,
Чтоб любить и любимой быть мной.

Я и Аннабель были детьми
В королевстве у края земли,

Но любили с недетскою силою мы —
Я и нежная Аннабель Ли.
Там крылатые ангелы с синих небес
Нас от взоров чужих берегли.

Был внезапен конец у невинных утех
В королевстве у края земли:
С моря ветер подул, и предательский снег
Усыпил мою Аннабель Ли.
Ее дядюшки прочь на руках унесли,
Чтобы спрятать в холодной дали.
Так я был разлучен с той, в чей смех был влюблен,
В королевстве у края земли.

Даже ангелам столько познать не дано,
Сколько знали о счастье мы с Ли.
Много весен назад, очень-очень давно
В королевстве у края земли,
Там, где с моря завистливый ветер подул
И убил мою Аннабель Ли.

Только наша любовь ярче солнца была
И взрослей, и мудрее, чем мы.
И она наши души на крыльях несла
Из зловещей, безжалостной тьмы.
И ни Бог, и ни дьявол не разъединит
То, что вечный скрывает гранит…

Мне луна навевала тоскливые сны
О потерянной Аннабель Ли.
Как глаза ее, звезды сияли, грустны.
О, прекрасная Аннабель Ли!
На холодной земле, там, где милая спит,
Я лежал между каменных плит.
Пусть же будут всегда наши вместе тела
В королевстве, где море шумит.

Перевод с английского И. Зуевой

Из французской поэзии

Жак Превер

Прогулка Пикассо

На очень круглой тарелке из настоящего фарфора
обнаженное яблоко
позирует художнику-реалисту который
тщетно пытается изобразить
яблоко таким каково оно есть
но
яблоко не дается
оно не хочет быть
яблоком
у него свое ***Я***
и свои секреты в мешке с яблоками
и вот оно переваливается на бок
на вполне реальной тарелке
и мягко
тайком от себя самого
крадется на задних лапках
по краю газовой горелки
в которую превратился герцог Гиз
который от злости тут же скис
увидев что кто-то без разрешения пишет его портрет
и яблоко подмигивает – «Привет!»
и превращается в переряженный прекрасный плод
и вот
художник-реалист наконец сознает
что все превращения яблока – его враги
а он – обездоленный нищий
ничтожный бродяга – лишь жертва какой-то приятной
ассоциации; благодарный и ужасно напуганный
благотворительностью
щедростью и неожиданностью
и несчастный художник-реалист
вдруг становится пессимистом
становится пессимистом и жалким рабом
безумной толпы ассоциаций
а яблоко катится и вспоминает яблоню
земной рай и Еву и еще впрочем Адама
лейку шпалеру Пармантье и лестницу
и Канаду и Гесперид и Нормандию и Ренет
и Апи

и лапту и крученую подачу и змия
и забитый в ворота мяч
и первородный грех
и детство искусства
и Швейцарию с Вильгельмом Теллем
и даже Исаака Ньютона
и множество его премий полученных на Выставке
всемирного
тяготения
и обалдевший художник не помнит больше о своей
модели
он спит
а тем временем Пикассо
проходивший мимо как он везде проходит
у себя дома
как у себя дома
видит яблоко тарелку и спящего художника
что за идея рисовать яблоко —
думает Пикассо
и Пикассо съедает яблоко
и яблоко ему говорит – «Мерси!»
и Пикассо разбивает тарелку
и улыбаясь удаляется
тогда художник вскакивает
как от зубной боли
и попадает в общество своей незавершенной картины
и поскользнувшись на осколках разбитой посуды
жадно пересчитывает ужасающие обломки реальности

Перевод с французского Е. Ветровой

Из китайской поэзии

Лао Цзы

От существования – к сущности

Лучший правитель тот,
о котором людям известно
лишь то, что он существует.

Очевидно, эти строки древнекитайского философа Лао Цзы (разумеется, за исключением слова «правитель») вполне приложимы к нему самому. О нем действительно известно только то, что он существовал. Но и в этом мы не уверены. Его биография – это не более чем легенды. В частности, они рассказывают о том, что философ родился старцем, словно специально оказывая услугу Карлу Густаву Юнгу с его теорией архетипов Старого Мудреца и Младенца. Само имя Лао Цзы означает «старый мальчик».

…Дао Де Цзин – философская книга о некоей Сущности, которая стоит за бесчисленными вещами материального мира. Быть может Дао – наиболее абстрактная категория прафилософии.

…Пересказывая современным слогом («в забавном русском слоге», как некогда писал Державин) древнюю и мудрую книгу, не могу не признаться, что перед вами не перевод, а переложение.

Источниками для него явились несколько переводов книги на английский язык (помимо наиболее известного комментированного издания текстов Лао Цзы под редакцией Чен Ку-янга и перевода Джи-фу Фенга и Джейн Инглиш, мною в значительной степени использован замечательный перевод Стефана Митчела), а также академический русский перевод Ян Хин-шуна. При подобном подходе, очевидно, бессмысленно говорить о буквализме и научности предлагаемого читателю текста. И вместе с тем мне не хотелось бы, чтобы переложение воспринималось как вольная импровизация. Более того, некоторые наиболее явные отступления от «канонического» текста представляют собой попытку реконструкции, об оправданности которой – судить не мне. Главное, чего хотелось мне достичь, это «перевести» Книгу Пути из раздела «философская проза» в раздел «философская поэзия». Многие авторы отмечают поэтичность текста Лао Цзы, а на Западе существует устойчивая традиция перевода Книги Пути ритмизованной прозой либо верлибром. Это вполне оправдано, ибо китайский подлинник также имеет ритмическую организацию.

…И – последнее.

В разное время Книга Пути (как и любая книга подобного рода) воспринимается по-разному. Стоит ли удивляться тому, что когда наша слишком бурная деятельность лишь подтвердила ограниченность наших возможностей, когда каждый рывок все туже затягивает петлю, образ старика на буйволе со свитком в руках все чаще возникает перед нами? Мы сыты действиями, не попробовать ли действовать недеянием и учить молчанием?

Будь осторожен в словах —
с ними могут согласиться.
Будь осторожен в поступках —

им могут последовать.

Борис Херсонский

Из «Книги Пути» (Дао Дэ Цзин)

18

Когда великое Дао
было забыто,
появились «добродетели»
и «милосердие».
Когда исчезла
природная мудрость тела,
появились «рассудительность»
и «образованность».

Когда родичи
перессорились вчистую,
появились «сыновняя почтительность»
и «родительская опека».

Когда государство
впало в хаос,
родился «патриотизм».

33

Знание других —
не более чем знание,
знание самого себя – мудрость.

Господство над другими —
не более чем господство.
Господство над собой —
истинное могущество.

Богат лишь тот, кто знает,
что имеет достаточно.
Если ты станешь в центре,
и примешь смерть в свое сердце,
значит – ты устоял.

44

Слава или целостность —
что важнее?
Деньги или счастье —
что ты ценишь более?
Успех или провал,
что более разрушительно?
Ищущий удовлетворения вовне
никогда не достигнет цели.
Если счастье зависит от денег,
не будешь счастлив сам по себе.
Будь доволен тем, что имеешь,
радуйся естественному
ходу событий,
в миг, когда поймешь,
что ни в чем не нуждаешься,
мир будет твоим.

67

Кто-то считает мое
учение – бессмысленным.
Кто-то считает его
возвышенным, но непригодным.

Но для тех, кто смотрит
вглубь самого себя,
абсурд преисполнен смысла.

Они знают, что возвышенное
имеет корни в глубинах.

Я учу только трем вещам:
простоте, терпению и пониманию.
Эти три вещи —
истинное сокровище.
Простота в мыслях и действиях
возвращает к истокам вещей.
Терпенье с друзьями и недругами
возвращает к начальной гармонии.
Понимая себя, примиряешься с миром.

Перевод Б. Херсонского

Из английской поэзии

Джон Донн
Из «Священных сонетов»

«Ты – мой Творец. Твой труд ли пропадет?..»

Ты – мой Творец. Твой труд ли пропадет?
Исправь меня, избавь кончины зряшной.
Я в смерть лечу и смерть ко мне течет,
И все удачи, будто день вчерашний.
Не смею я поднять потухших глаз,
Отчаянье и страх снимают взятки,
Как вспышка малая мелькнет последний час,
И в вечный ад я ринусь без оглядки.
Но вот Твое искусство надо мной,
Когда к Тебе я поднимаюсь взором,
Мой старый грех, соблазн извечный мой
Горит во мне спасительным укором.
И я лечу над бездной бытия,
И эти крылья – благодать Твоя.

«Смотрите, сэр, как мужественный пламень…»

Смотрите, сэр, как мужественный пламень
Из нильской гнили странные творенья
Извлечь готов; так рифм граненый камень
Во мне от Вашего растет благоволенья.
Вот сила и источник бытия
Для семерых, чтоб вместе им родиться,
Но только шесть Вам посылаю я,
Седьмого же нельзя не устыдиться.
Ваш суд избрав, поскольку в равной мере
Сестра его, изысканность способна
Огнем преображения поверить
Бурленье разума, ворчащее утробно.
Вы – чародей, имеющий отвагу
В мгновенье ока зло вернуть ко благу.

Джон Китс

Кузнечик и сверчок

Поэзия земли всегда с тобой.
Когда все птицы, ослабев от зноя,
Прохлады ищут в зелени густой,
Чья песня полю не дает покоя?
Кузнечик правит этот дивный бал.
И роскошь свежескошенного луга,
Притихнув, слушает, пока он не устал,
Пока его не перебила вьюга.
Поэзия земли всегда с тобой.
Зимой, когда потрескивают свечи,
Уму и сердцу придают покой
Сверчка за печкой вычурные речи.
И вспомниться сквозь дрёму городов
Кузнечик среди солнечных лугов.

Перевод с английского В. Верлоки

Из ирландской поэзии

Шеймус Хини

Копаем…

Большой с указательным пальцы сжимают перо,
оно прилегает удобно, как будто это – ружьё.

Звуки трения слышу отчетливо я под окном:
то скрежещет лопата, входящая в почву с песком.
Отец мой копает.

Его поясница видна мне над длинной ботвой,
как лет двадцать назад, он склоняется над бороздой
напряженно. Отец мой копает,
упирая ботинок, как будто бы делая шаг,
нажимая на ручку лопаты, он держит её как рычаг
между ног, прижимая к колену, срезая верхушки долой,
яркий край погружая, чтоб выбросить ком земляной
и рассыпать картошку. Мы любили её собирать
и прохладную твердость и тяжесть в руках ощущать.

Ей-богу, старик мой обращаться с лопатой умел,
и его старик тоже.

Мой дед на болоте у Тонера торфа нарезать за день
больше всех успевал. Я однажды ему молоко
в бутылке с бумажной неплотной затычкой принес:
распрямился и выпил он, и, чтоб наверстать, подрубал,
разрезал и швырял дёрн через плечо и назад,
углубляясь всё ниже и ниже,
где торф был получше. Копал.

Этот запах прохладный ботвы снова в памяти ожил моей.
Ярким краем лопата мелькает быстрей и быстрей.
И сырые дернины бьют оземь сильней и сильней.
Нет у меня лопаты, чтобы их преемником стать.

В моих пальцах перо зажато.
Вот им я и буду копать.

Персональный геликон

Ребенком от старых колодцев меня было не оттянуть,
где ржавые вороты с ведрами и черпаками,
там, где, небо в ловушку поймав, вёдра падают в тёмную жуть,
отдающую холодом, сыростью, плесенью, мхами.

На кирпичном заводе я помню колодец с подгнившей доской;
когда падал отвесно черпак
на длиннющей верёвке – грохочущим звуком движения
я любил наслаждаться. Там дно глубоко было так,
что уже невозможно внизу разглядеть отраженья.

Другой неглубокий, под высохшим каменным рвом,
плодоносный, как всякий аквариум, илистый, сорный,
твое белое лицо колебалось внизу надо дном,
когда ты из мульчи выволакивал длинные корни.
А в других жило Эхо. Они возвращали твой зов
с чистой новою музыкой. Чувство опасности, риска
ощутил я в одном – когда, выбежав из папоротников и кустов,
прямо по моему отраженью прошлепала крыса.

Теперь любопытствовать, – что там, в корнях? —
и рассматривать мхи,
большеглазым Нарциссом уставясь в источник при этом,
стало ниже моего взрослого достоинства. Я пишу стихи,
чтобы увидеть себя и заставить темноту отвечать эхом.

Фонарь боярышника

Эти колючие дикие ягоды ярко горят даже среди зимы, —
маленький огонек для маленьких людей, —
он желает им только, чтобы их достоинство не погасло,
чтоб язычок его пламени ровно горел,
но и блеском своим их тоже не ослеплял.

Иногда, на морозе, когда дыхание превращается в пар,
разрастаясь и принимая вид Диогена,
блуждающего с фонарем в поисках человека,
ты испаряешься, – он пристально рассматривает тебя,
держа красные ягоды перед собою, на уровне глаз,
на кончике ветки;
и ты отступаешь перед плотной связью их мякоти с косточкой,
перед жалящим до крови уколом, желая, чтобы он испытал
тебя и очистил,

перед его проклеванной спелостью, – и тогда он высвечивает
тебя и уходит дальше.

Дождь дирижер

Бет и Ренди

Вот-вот будет дождь. Взмах палочки и потом
хлынет музыка, которую раньше
ты никогда не мог бы услышать. Подкрадывается

как кактус, растёт поток, ливень, водоворот,
рвёт шлюзы, падает, течет сквозь. Ты как труба,
на которой играет вода. Снова – встряхнёшь легко
и diminuendo вдоль всех колен,
спотыкаясь, как струи о водосток. И вот —
кап-кап – с омытых листов,

еще нежнее – с трав, лепестков
ромашек, пылью блестящей, почти дыханием воздух.
Вот-вот – палочкой снова он взмахнет и потом

с неослабной силой всё повторит, что было однажды,
дважды, десять, и тысячу раз – до.
Кому это важно, что музыка, которая вся улетела, испарилась —

лишь паденье песка, сухих семян сквозь кактус?
Ты как богач пройдёшь на небо
сквозь ушко дождевой капли. Слушай же снова.

Мята

Как низкий куст пыльной крапивы
на гребне крыши. За ней без названья
ненужные вещи лежат сиротливо
на свалке. Почти недостойны вниманья.

По правде сказать, живое надежде
нас учит. И слабое может быть цепким.
Задний двор нашей жизни. Растенье, как прежде,
из редкого может стать обильным и крепким.

Взмах лезвий ножниц. Её Воскресеньями
любовно срезают и берегут.
Последние вещи нас покидают первыми.

Раз выжили – пусть свободно уйдут.

Пусть беззащитный запах её течёт нескончаем,
освобожденный, как обитатели свалок иных,
как те, которыми мы пренебрегаем
потому, что пренебрежением губим их.

Перевод с ирландского А. Михалевич

Из украинской поэзии

Николай Луговик

Вязание

И паутина
бабьего лета
над пожарищем палой листвы,
и немая игра
светотени —
мимолетные тени испуганных птиц,
неподвижные тени деревьев…
проступают
и тонут в узоре.
Я знаю —
этот свитер ты будешь вязать мне
не день
и не два.
Серебристые тонкие нити дождя
и прозрачные нити ущербной луны,
под которой мы ждали друг друга,
льются
по спицам,
сквозь пальцы,
сквозь годы,
чтобы ожить в цветоносном узоре.

Осенние мытарства

Ритуальное чудо,
печаль багряницы…
Тщетно полетом печалится лист,
едва продлевая падение,
мертвеют земля и душа,
когда проплывает безмолвно жар-птица,
роняя небрежно
красивые перья…
Муравей с муравьиным терпением
тащит в дом насекомого зверя.
Допотопный сверчок
не упрятал за печь свои длинные песни,
но травы уже онемели.

Как явственно, как откровенно
проступает знакомый по храмовым стенам
и пожелтевшим страницам орнамент!
А в чистых полях
бродят скифские бабы,
на украинский борщ собирают
тяжелые рыжие камни.

Перевод с украинского И. Винова

Из немецкой поэзии

Герлинд Фишер-Диль

1. Бонвиван и скромница

Лица – как открытые окна.
Они дают ограниченную возможность
заглянуть во внутреннее убранство
человеческого характера.

2. Чувствительный

Бумажные стены защищают фасад. На дожде
все размокает. Целые локоны падают с головы.
Даже сквозняк заставляет дрожать ноздри.
Хочется, чтобы в чувствительном цвете глаз
отражались лишь тихие летние вечера
и на устах лежал серп луны.

3. Кокетка

Глаза боятся щекотки. Придется
срочно спрятаться в морщинки
и надуть губки.

10. Болтливая

Услышанное рекой стекает
из ее ушей на язык
и водопадом сносит его.

11. Чувствительная

Ушами летучей мыши
она слышит блошиный кашель
и ломает мимозу, если

дует прохладный ветер.

13. Льстец

Своим бархатным языком
он, как следует, полирует слова,
чтобы они у него блестяще слетали с губ.

16. Недоверчивый

Его перспективы лопаются,
как мыльные пузыри под веками.
Тяжеловесно каждое слово
на его задубевшем языке.

21. Хвастун

Надутые паруса на задранной мачте носа.
Под звуки губной гармошки
рот уходит в большое плаванье.

22. Эгоист

Он носит пупок во рту,
держит нос в поле зрения,
чтобы никогда не терять
себя из виду.

25. Мечтатель

В сетчатке глаз паутиной
фата моргана. Он быстро
закрывает глаза, чтобы
свет не обокрал его.

26. Фальшивая

У нее на кошачьих лапах

любезность ползет по лицу.
В комедии губ
глаза не играют роли.

29. Аскет

Блеск вечного блаженства
в глазах, тогда как рот
иссох и щеки припали
к костям. Напрасно нос
растет непомерно.

37. Истеричная

Язык гоним амоком,
когда у нее на носу
пляшут белые мыши и
вдруг бросаются в глаза.

38. Влюбленная

Она потеряла рассудок
и забила голову розовыми облаками.
Тюлевая фата застилает глаза по уши
и фильтрует для носа пыль пересудов
вокруг. Милый ротик под ней
обращает слова в поцелуи.

43. Равнодушный

Пустынное лицо: в глазах —
высохшие оазисы.
Глубоко под кожей – ископаемые следы
жизни.

47. Дипломат

Глаза настроились
предупредительно. Даже почуяв

дурное, его нос сохраняет
лоск. Податливые губы
прикрывают гибкий язык. Из него
вынули пружину.

48. Интеллигент

Его голова ходит на ходулях.
К холодной вершине лба
настойчиво стремится рот.

49. Честный

Пунктуальность в зрачках.
Нос прямой, как стрела,
летит ко рту и запрещает ему
ходить на сторону.

50. Обыватель

Он делает себе пробор линейкой
и фиксирует зрачки, чтобы они
не выходили из ряда вон. Едва
он привел нос в порядок и скривил рот,
как что-то бьет по барабанным перепонкам,
выводит уши из равновесия и разрушает
педантично убранную голову.

52. Любимец

Народный праздник в самом разгаре.
От его взглядов зажигаются
цветные фонарики и создают
повсюду хорошее настроение. Кто
хочет влететь в глаза, кто сесть
на шею? Воздушные шарики
слетают с губ, и язык продает
медовые пряники.

60. Наивная

В ее глазах гнездится
слепая вера.
Никогда и ничто
не бросит тень на чистые вишневые уста.

63. Диктатор

Под триумфальными арками
глаза стоят на страже. Строго
вдоль носа сбегают складки.
Подбородок вышел вперед
к прочной цепи зубов. Никто
не смеет перечить, даже рот.

Перевод с немецкого М. Клочковского

Гюнтер Грасс
Из сборника «Преимущества гончих кур»

Фасоль и груши

Пред тем, как стухнут юные желтки —
наседки рано высидели осень —
как раз теперь, пока лезвия ножниц
луну проверят твердым большим пальцем,
пока висит на нитях троиц лето,
пока мороз укрыт под медальоном,
пока игрушки елок, словно дождь, блуждают,
пока что шеи голы, в половину укутаны туманом,
пока пожарная охрана не погасит астры
и пауки попадают по банкам,
чтоб так избегнуть смерти сквозняка,
пред тем как нам переодеться
и завернуться в жалкие романы,
давайте поедим фасоль.
Со спелой желтой грушей и гвоздикой,
с бараниной давайте же фасоль,
с гвоздикой черной и со спелой грушей,
отведаем стручковую фасоль,
с бараниной и грушей, и гвоздикой.

Открытый шкаф

Внизу топчутся туфли.
Они боятся жука
по дороге туда,
пфеннига по дороге обратно,
жука и пфеннига, которых могут растоптать,
так, что останется след.
Вверху – хранилище шляп.
Сохрани, схоронись, осторожно.
Невероятные перья,
как название птицы,
куда закатились ее глаза,
когда она поняла, что жизнь для нее чересчур пестра.
Белые шарики, что спят в карманах,
грезят о моли.
Здесь нет пуговицы,
на поясе утомилась змея.
Мучительный шелк,

астры и другие огнеопасные цветы.
Осень, что становится платьем,
по воскресеньям полным плоти и соли
сложенного белья.
Прежде, чем шкаф замолчит, станет доской,
дальним родственником сосны, —
кто будет носить пальто,
когда ты однажды умрешь?
Шевелить рукой в рукаве,
Упреждая любое движенье?
Кто станет поднимать воротник,
останавливаться перед картинами
и жить одиноким под колокол ветра?

Комариная мука

В нашем районе год от года становится хуже.
Часто мы приглашаем гостей, чтоб немного
уменьшить толпу.
Но люди вскоре опять уходят, —
после того, как похвалят сыр.

Это не беда.
Нет, чувство, что происходит нечто
более древнее, чем рука —
что есть в любом будущем.

Когда кровати спокойны
и маятник висит на звучащих, бесчисленных нитях,
нитях рвущихся и начинающих вновь,
немного громче,

когда я зажигаю трубку
и сижу лицом к озеру,
по которому плывет плотный шорох,
я беспомощен.

Теперь мы не хотим больше спать.
Мои сыновья бодрствуют,
дочери толпятся у зеркала,
жена поставила свечи.
Ныне мы верим в огни,
по двадцать пфеннигов каждый,
к которым летят комары,
к короткому обещанью.

Школа теноров
(*фрагмент*)

Возьми тряпку, сотри луну,
напиши солнце, другую монету
на небе, школьной доске.
Потом садись.
Твой аттестат будет хорошим,
тебя переведут,
ты будешь носить новую, более светлую кепку.
Ибо мел прав,
и прав тенор, поющий его.
Он лишит бархат листьев,
плющ, метр ночи,
мох, его нижний тон,
он прогонит любого черного дрозда.

Перевод с немецкого М. Клочковского

Из немецкой прозы

Юдит Герман

Хантер – Томпсон – Музыка

День, когда что-то все-таки происходит, это пятница перед пасхой. Хантер идет вечером домой, купив в супермаркете супы-концентраты, сигареты, хлеб и в вино-водочном магазине – самый дешевый виски. Он устал, у него слегка подкашиваются ноги. Он идет по 85-й улице, зеленые кульки, болтаясь, бьют его по коленям, мартовский снег, тая, превращается в грязь. Холодно, световая реклама «Вашингтон-Джефферсона» неясно мерцает в темноте словами «Отель-Отель».

Хантер толкает ладонью крутящуюся дверь, тепло затягивает его внутрь, у него перехватывает дыхание, на зеленом полу остаются черные следы. Он входит в сумрачное фойе, стены которого, обитые темно-красным шелком, мягкие кресла и большие хрустальные светильники говорят о необратимости времени; шелк топорщится волнами, кожаные кресла выглядят засиженными и потертыми, во всех светильниках не хватает матовых стекол, и вместо двенадцати лампочек в каждом горят только две. «Вашингтон-Джефферсон» уже больше не отель. Он – убежище, дешевая ночлежка для стариков, последняя станция перед концом, дом с привидениями. Только изредка сюда по неведению попадает обычный турист. Пока кто-то не умирает, все комнаты заняты, когда же кто-то умирает, комната на короткое время освобождается, чтобы принять очередного старика – на год или на два, или на четыре-пять дней.

Хантер идет к стойке, за которой сидит владелец отеля Лич. Лич занят тем, что ковыряет в носу и просматривает объявления о знакомствах в «Дэйли Ньюз». Хантер ненавидит Лича. Каждый в «Вашингтон-Джефферсон» ненавидит Лича, за исключением разве что старой мисс Джиль. Лич разбил ее сердце. Сердце мисс Джиль и без того было покрыто шрамами, в нем стоит искусственный клапан. Лича не интересует мисс Джиль. Его интересует только он сам, да еще объявления о знакомствах в «Дэйли Ньюз» – и только с извращениями, подозревает Хантер – и, конечно, деньги. Хантер ставит зеленые кульки на обшарпанную стойку, тяжело дышит, произносит: «Почта».

Лич, не глядя на него, говорит: «Почты нет. Конечно же, нет никакой почты». Хантер чувствует перебои сердца. Ничего серьезного – оно пропускает один удар, медлит, а потом стучит дальше, милостиво, и, как будто хочет сказать: маленькая шутка. Хантер говорит: «Не могли бы вы, по крайней мере, взглянуть, нет ли для меня почты».

Лич встает с видом человека, которого оторвали от чрезвычайно важного дела, и усталым жестом указывает на пустые ящички. «У вас номер 93, мистер Томпсон. Видите – он пуст. Так же как всегда».

Хантер видит пустой ящик, смотрит на другие пустые ящики вверху и внизу, в 45-м лежит шахматный журнал для мистера Фридмана, в 107-м руководства по вязанию для мисс Вендерс, их как-то необычно много. «По-моему, мисс Вендерс уже много дней не берет свою почту, мистер Лич», – говорит Хантер. «Вы бы посмотрели, все ли у нее в порядке».

Лич ничего на это не отвечает. Хантер с чувством маленького триумфа берет кульки и поднимается на лифте на четвертый этаж. Лифт сильно трясется, срок его эксплуатации давно прошел, света в нем нет. Двери с грохотом открываются, Хантер идет по коридору, ощупывая стенку. С тех пор, как три недели назад умер старый Райт из 95-го номера, Хантер чувствует себя в этом углу одиноко, ему страшно. Надпись «Выход» над дверью, которая ведет на лест-

ницу, светится тускло. Судя по звукам, доносящимся из ванной комнаты в конце коридора, там кто-то есть, слышен плеск воды, сильный кашель, Хантера передергивает, сам он обычно пользуется рукомойником в своем номере, в общую ванную старается ходить как можно реже, к сожалению, большинство стариков вызывают в нем отвращение. Хантер поворачивает ключ в замке, включает свет, закрывает за собой дверь. Он выкладывает продукты, ложится на кровать и закрывает глаза. В темноте вспыхивают и гаснут зеленые точки. Здание движется. Скрипят половицы, где-то хлопает дверь, вдалеке дребезжит лифт. Слышна тихая музыка, звонит чей-то телефон, что-то падает с глухим стуком на пол, на улице сигналят такси. Хантер любит эти звуки. Он любит «Вашингтон-Джефферсон». В этой любви есть грусть, покорность судьбе. Он любит свою комнату, которая стоит 400 долларов в месяц, он заменил в ней 20-ваттные лампочки на 60-ваттные, повесил на окна синие шторы. Он поставил книги на полки, магнитофон и кассеты положил на комод, повесил над кроватью две фотографии. Есть стул для гостей, которых никогда не бывает, и телефон, который никогда не звонит. Возле рукомойника стоит холодильник, на холодильнике – маленькая электроплитка. Точно так же и во всех других номерах. Раз в неделю меняют постель, причем Хантер настоял на том, чтобы делать это самому, ему неприятно было думать, что горничная будет сновать по номеру между его книгами и картинками.

Хантер поворачивается на спину, отодвигает занавеску на окне и смотрит на темное небо, разрезанное решетками пожарной лестницы на маленькие квадраты. Он засыпает и снова просыпается. Смотрит на коричневый коврик. Встает. В марте еще будет идти снег, Хантер чувствует это по тому, как ломит в костях. Но усталости уже нет, в комнате тепло, что-то пощелкивает в батарее, где-то далеко, в самом конце коридора тонким высоким голосом напевает мисс Джиль. Хантер усмехается. Подогревает на плитке суп, наливает себе виски, ест, сидя перед телевизором. Комментатор Си-Эн-Эн бесстрастным голосом рассказывает, что в районе Бруклин города Нью-Йорка мальчик застрелил трех работников «Макдональдса». На экране появляется мальчик, он чернокожий, наверное, ему семнадцать лет, его держат трое полицейских, голос из ниоткуда спрашивает, почему он это сделал? Мальчик смотрит прямо в камеру, он выглядит абсолютно нормальным, он объясняет, что заказал «биг-мэк» без огурцов. Он им ясно сказал: без огурцов. А они ему дали «биг-мэк» с огурцами.

Хантер выключает телевизор. В коридоре, кажется, в 95-м номере хлопает дверь. Хантер поворачивает голову, напряженно вслушивается. Тихо. Он моет тарелки и кастрюльку, наливает себе еще виски, нерешительно поглядывает на кассеты. Время для музыки. Каждый вечер. Время для сигареты. Время для времени. А что ему еще делать, как не слушать музыку. Хантер трет рукой глаза, щупает пульс. Сердце бьется тихо и как-то лениво. Может быть Моцарта. Или лучше Бетховена. Шуберт как всегда слишком грустен. Бах. Иоганн Себастьян Бах. Хорошо темперированный клавир, том 1-й. Хантер вставляет в магнитофон кассету и нажимает кнопку «Пуск», слышится тихий шум, он садится на стул возле окна, закуривает сигарету.

Гленн Гульд играет медленно, сосредоточенно, иногда слышно, как он при этом тихонько подпевает, или, как он тяжело дышит. Хантеру это нравится, ему кажется, что в этом есть что-то личное. Он сидит на стуле и слушает. Когда он слушает музыку, ему иногда очень хорошо думается, а иногда он вообще ни о чем не думает, и то и другое замечательно. Гудки такси, где-то далеко. Мисс Джиль уже больше не поет, а может Гленн Гульд громче, чем мисс Джиль. Возле двери его комнаты скрипит половица. Громко скрипит. Она всегда так громко скрипела, когда перед дверью стоял мистер Райт, который заходил к Хантеру за сигаретой, виски, или просто, чтобы поболтать. Мистер Райт мертв, он умер три недели назад, он был единственный, кто когда-либо стоял у двери Хантера.

Хантер смотрит вытаращенными глазами на дверь, в отличие от того, как это бывает в фильмах, дверная ручка не поворачивается. Но половица снова скрипит. Сердце Хантера начинает быстро биться. В Нью-Йорке очень большая преступность. Никто не придет на помощь,

если он закричит. Лич притворится, что забыл, как звонить в полицию. Хантер встает. Он крадется к двери, сердце его замирает, он берется за ручку, делает глубокий вдох, открывает дверь.

Девушка стоит, освещенная зеленым светом указателя «Выход». Хантер смотрит на ее маленькие ноги с поджатыми пальчиками, он видит расчесанный комариный укус на левой лодыжке, кусочек грязи под ногтем большого пальца. Подол халата подшит бахромой, халат синий, с белыми зайцами на карманах. Она туго затянула поясок на талии, под мышкой у нее полотенце и пузырек с шампунем. У нее узкие губы, она кажется взволнованной, с мокрых волос на пол капает вода. Она щурится, пытаясь что-то высмотреть в комнате Хантера, под левым глазом у нее маленькая родинка. Хантер непроизвольно переводит взгляд на себя, смотрит вниз, собственную пряжку он не может увидеть, потому что над ней нависает живот. Девушка произносит какое-то слово, что-то типа: «Музыка». Хантер открывает дверь шире, так, чтобы она могла осмотреть комнату. Он снова слышит пение мисс Джиль, она поет «Honey Pie, you are making me crazy», ему почему-то это неприятно. Девушка говорит что-то вроде: «Извините, музыка». Она неумело выговаривает слова, как ребенок, чешет при этом пальцами правой ноги свою левую икру.

Кожа Хантера покрывается мурашками. Он выходит в коридор, прикрывает за собой дверь и говорит: «Что это значит», девушка отступает назад, кривит рот. Хантер чувствует, как у него дрожит рука, лежащая на дверной ручке, девушка перекладывает полотенце и шампунь из-под правой руки под левую и говорит: «Это еле видение или музыка?» Хантер смотрит на нее, ему вспоминается какое-то телешоу, она говорит с помощью некого кода, но он не может разгадать этот код, «смотрит он еле видение или слушает музыку», что бы это могло означать?

Она говорит: «Телевизор или музыка? Реклама, клипы или действительно музыка?»

Хантер медленно повторяет: «Действительно музыка», и девушка, на этот раз нетерпеливо, встает на носочки и говорит: «Бах».

Хантер говорит: «Да, Бах. Хорошо темперированный клавир, Гленн Гульд».

Она говорит: «Ну вот. Значит, вы слушаете музыку».

Хантер задерживает дыхание, он чувствует, что живот от этого раздувается еще больше, но тут же ему становится лучше. Конечно, он слушает музыку. Он хочет вернуться к началу, к первому вопросу, ему трудно скрыть свое замешательство, он понимает, что выглядит простофилей. Он говорит еще раз, и на сей раз решительно: «Что все это значит», и девушка медленно отвечает голосом школьной учительницы: «Я остановилась возле вашей двери, чтобы послушать музыку».

Хантер неловко улыбается, его улыбка скорее похожа на оскал, мисс Джиль поет «I'm in love but I'm lazy», ему хочется свернуть ей шею, как это сделали утке в каком-то знакомом комиксе. Он хихикает. Девушка тоже хихикает. Она говорит: «У нее не все дома, да?», Хантер перестает смеяться и говорит: «Она старая».

Девушка высоко поднимает левую бровь. Хантер поворачивает дверную ручку, готовый вернуться в комнату, он говорит смущенно: «Ну, вот».

Девушка делает решительный вдох, переступает с ноги на ногу и произносит одно за другим три предложения, Хантеру нужно сильно напрягать свое внимание, она говорит: «Знаете, я тут проездом. Остановилась в девяносто пятом номере. Было очень приятно. Послушать вашу музыку. У меня украли магнитофон».

Хантер спрашивает: «Кто?», ему вдруг зачем-то нужно выиграть время, для него все это уже чересчур, она слишком молода для этой гостиницы, она так смешно говорит. Она говорит: «Эти типы на Гранд Сентрал, они украли у меня рюкзак и магнитофон, и теперь я не могу слушать музыку. И это плохо. Без музыки невозможно», она внимательно смотрит на Хантера.

Хантер говорит: «Мне очень жаль», он смотрит в темный коридор, как будто ждет оттуда помощи, мисс Джиль прекратила петь, есть слабая надежда на то, что она сейчас пойдет к лифту и прервет, таким образом, этот разговор. Мисс Джиль не идет. Девушка (Хантер

чувствует, что она за ним наблюдает), говорит с какой-то странной интонацией: «Вы здесь живете?», и Хантер снова поворачивает к ней голову, у нее такое выражение лица, как будто она сейчас разозлится, ее тело властно клонится вперед, с волос все еще капает вода.

– Да, – говорит Хантер. В том смысле, что я… – он замолкает, он хочет вернуться в комнату, захлопнуть дверь у нее перед носом.

– Это довольно странная гостиница, вы не находите? – спрашивает девушка, засовывая руку в карман халата, при этом аппликация зайца неприлично выгибается. Хантер чувствует смертельную усталость. Ему хочется вернуться к Гленну Гульду, к синим шторам своей комнатки, хочется спать. Он отвык от этого, от встреч, от разговоров; он говорит: «Простите», девушка театрально вздыхает, достает ключ из кармана и улыбается Хантеру, как бы успокаивая его. «А не хотим ли мы вместе где-нибудь поужинать? Может быть завтра вечером, вы могли бы показать мне хороший ресторан и рассказать что-нибудь об этом городе, вы наверняка много знаете», – Хантер думает о том, что он уже многие годы не ужинал в ресторане, что он и не знает никакого хорошего ресторана, что ему нечего рассказать об этом городе, совсем нечего, он говорит: «Конечно, с удовольствием», – девушка улыбается и говорит: «Итак: завтра в восемь вечера, я за вами зайду. Спокойной ночи».

Хантер кивает. Смотрит на ее спину, когда она открывает дверь своего номера, на темное, мокрое махровое полотенце, потом смотрит на закрытую дверь, слышит, как она там потихоньку напевает, чистит зубы, он видит, как гаснет полоска света под дверью. Он не уверен, что ему хватит сил вернуться в свою комнату.

На следующий день он просыпается оттого, что мисс Джиль и мистер Добриан устраивают перепалку в коридоре, прямо возле общей душевой. «Вы свинья! – кричит мисс Джиль. – Вы свинья, Лудер, вы грязный развратник! Входить в ванную, когда там моются женщины! Я все расскажу мистеру Личу!» Хантер слышит запинающийся, усталый, старческий голос мистера Добриана: «Мисс Джиль, вы специально не запираете дверь, если бы вы ее запирали, ничего бы этого не случалось!» Каждый день одно и то же. Мисс Джиль никогда не запирает дверь, кто-то заходит и видит, как она там стоит голая, видит ее увядшую кожу, всю в складках, с чувством отвращения выходит из ванной, а потом еще должен выслушивать всю эту ругань. Хантер вздыхает и натягивает на голову одеяло, сон ускользает, как платок, на мгновение перед ним появляется лицо девушки с мокрыми волосами. Он думает о предстоящем ужине в ресторане и чувствует холодок под ложечкой. Не надо было этого делать. Не надо было соглашаться, он не знает, о чем с ней говорить, она кажется ему немножко наивной, к тому же времена, когда его интересовали женщины, давно миновали. Что за идиотская идея, в этом состоянии идти в ресторан с незнакомой и совсем еще юной девушкой, смехотворная, гротескная идея.

Хантер садится. Смотрит в окно на серое низкое небо. Суббота перед пасхой, свободный день, кошмарно свободный день. Все еще возмущенный голос мисс Джиль, где-то далеко в коридоре. Хантер встает, умывается, надевает одежду, открывает окно, бросает взгляд на мокрую утреннюю улицу. Толстый ребенок с картонкой под мышкой падает, встает, бежит дальше. Хантер спускается на лифте на первый этаж, спешит к выходной двери, чтобы не встречаться с Личем, но это ему не удается.

– Мистер Томпсон! – голос Лича звучит маняще и мерзко. Хантер замедляет шаг и поворачивает голову, но не отвечает на приветствие.

– Вы ее уже видели, мистер Томпсон?

– Кого я видел, – говорит Хантер.

– Девушку, мистер Томпсон. Девушку, которую я из любви к вам поместил в 95-й номер!

Лич произносит слово «девушка» с такой интонацией, что спина Хантера покрывается холодным потом.

– Нет, – говорит он, рука его уже лежит на стекле двери, – я ее еще не видел.

Лич победно кричит ему вслед:

– Вы лжете, мистер Томпсон! Она рассказывала мне сегодня утром о том, как она с вами говорила, вы произвели на нее впечатление, мистер Томпсон!

Хантер с силой толкает дверь, выходит на холодную улицу и плюет. Девушка еще глупее, чем он думал. Он идет по 85-й улице до Бродвея, несмотря на субботу, на раннее время, машины уже стоят в пробке, на светофорах загорается красный и зеленый свет, из магазинов вытекают потоки людей, на углу 75-й улицы стоит огромный заяц и раздает толпе шоколадные яйца. Хантер быстро идет, без всякой цели, погруженный в себя, небо тяжелое, дождевое, похрустывает ледяная корка, покрывающая асфальт. Его толкают, он стоит пять минут на углу Бродвея и 65-ой, пока человек, продающий газеты не говорит ему, что уже третий раз загорается зеленый свет. Он поворачивается, идет к парку, покупает в «Бэйгелз энд Компани» сэндвич и кофе. Нищий китаец встает у прохожих на пути, лезет в их кульки, Хантер отшатывается от него, натыкается на толстую негритянку, извиняется, она смеется, говорит: «Не за что, дорогуша». Перед Гурмет-Гараж сидят служащие и едят салаты из пластиковых коробочек, они сидят рядом друг с другом, все на равном расстоянии. «Слишком много электричества!», – кричит сумасшедший у входа в «Мэйсей», сколько Хантер себя помнит, стоит там этот сумасшедший и кричит: «Слишком много электричества, это сводит людей с ума!», прохожие смеются, бросают ему под ноги десятицентовые монеты, которые он никогда не поднимает. Хантер сворачивает на боковую улицу, становится тише, перед дверями трехэтажных кирпичных домов – зеленые венки с желтыми лентами. Он садится в парке на скамейку, пьет остывший кофе, ест сэндвич, время пролетает незаметно, примерно в полдень начинает тихо моросить.

Хантер остается сидеть на скамейке. На клумбах голуби клюют желтые, пропитанные крысиным ядом, хлебные крошки, мимо проезжает девушка на роликах, черная няня с белым ребенком на руках садится на его скамейку, ребенок выглядит болезненным и заносчивым. Хантер все время смотрит на гравий между своими ногами, серый гравий с белыми точками. Он чувствует неприятное беспокойство в суставах, в руках. Погода тут ни при чем, хотя температура упала, и уже точно будет снег. Парк, который всегда делает его спокойным и усталым, сегодня выглядит неприступным и враждебным. Старая азиатка ковыряется в мусорной корзине, бормочет себе под нос какую-то чушь, уходит без добычи. Исчезает между деревьями, стоящими на другой стороне лужайки. На землю прямо перед скамейкой Хантера падает голубь, несколько раз дергает лапками и замирает навсегда. Хантер пересаживается на другую скамейку. Облака смещаются в сторону, открывая бледное, матовое небо. Мысли в его голове бессвязны: «Время. И время». Он ни о чем не думает. Он покидает парк, когда между скамейками ложатся длинные тени, идет назад к Бродвею, поток транспорта в предпраздничный день такой же плотный, как был утром. Он сворачивает на 84-ю улицу, подземный гараж на углу бесцеремонно выплевывает машины, Хантер переходит на другую сторону улицы, мерзнет, засовывает руки глубже в карманы брюк. В окне магазинчика Ленин горит свет.

Хантер осторожно нажимает на стеклянную дверь, его обволакивает войлочный занавес, он не может из него выпутаться, топчется в темноте, слыша тихий смех Ленни. Он освобождается от занавеса и тоже смеется, Ленни сидит в своем пыльном кресле-качалке за кассой и прикрывает рот рукой, как маленькая девочка. «Прекрати», – говорит Хантер. Ленни преувеличенно глубоко вздыхает, исчезает за полками, а потом появляется с бутылкой виски и двумя стаканами. В магазине тепло. В желтом свете летают пылинки, пахнет бумагой и влажной древесиной, кресло Ленни стоит посреди книг, картинных рам, масок для Хэллоуин, среди давно вышедших из моды ящичков и рулонов материи, искусственных цветов, консервных банок, пожелтевших открыток. Зонтики, парики, бейсбольные биты. Хантер сбрасывает со стула на пол кипу древних лотерейных билетов и садится. Ленни наливает виски, кажется, что в его морщинах собралась пыль, глаза влажно блестят за толстыми стеклами. Он говорит: «Ты был здесь позавчера, Томпсон». Хантер улыбается, говорит: «Я сейчас уйду», Ленни ничего не отвечает, наклонятся в своем кресле назад, в темноту. Виски с солоноватым привкусом. Где-то

капает вода, шум улицы кажется далеким, Хантеру становится тепло. Он уже забыл, зачем он пришел. Он не хочет вспоминать, зачем он сюда пришел, он хочет просто посидеть, как всегда он тут сидит, тихо, долго, без всякой причины – а потом встать и уйти. Ленни следит за ним, он чувствует, что Ленни за ним следит, Ленни хитрый, он вдруг хрипит, выплевывает мокроту в старую жестяную кружку и говорит: «Томпсон. Ты ведь не хочешь у меня что-то купить».

Хантер выпрямляется, плетеный стул под ним трещит, он слышит, как в ушах шумит кровь. Он говорит: «Мне нужен кассетный магнитофон. Ничего особенного, такой маленький, переносной, я думал, может у тебя случайно найдется».

Хантер откашливается, отводит взгляд, чтобы не встречаться глазами с Ленни, он уже жалеет, что вообще спросил, но что делать, он не умеет обманывать. Он говорит: «Я хочу его подарить». Ленни смотрит в сторону. Он качается взад и вперед, медленно, вяло, тихонько насвистывает, кивает головой. Хантер осторожно дышит. Ленни встает, исчезает в глубине магазина, разбивается стекло, падают книги, поднимается пыль. Ленни кашляет и ругается, что-то дергает там и тут, возвращается, в его узловатых руках, покрытых коричневыми пятнами, маленький, почти что изящный магнитофончик с серебристым подкассетником.

Хантер сильно вспотел. Воротник пальто трет шею, шерстяной шарф кусается, жарко невыносимо. Ленни ставит магнитофон возле кассы, вытирает его тряпочкой. Он выглядит озабоченно. Хантер отворачивается, отодвигается вместе со стулом немного назад, в темноту. Ленни наклоняется к нему и говорит: «Ты знаешь, что я больше ничего не продаю. Я просто так тут сижу. Я больше ничего не продаю».

– Да, – тихо говорит Хантер, – я знаю.

Ленни вздыхает, опять сплевывает в чашку и после этого тихонько хихикает. «Я тебе удивляюсь, Томпсон. Я на самом деле удивляюсь. Я не думаю, что ты хочешь подарить этот магнитофон Личу, или мисс Джиль». Он глядит сквозь толстые линзы очков на Хантера, сверху вниз, на его лысине дрожит комочек пыли. «Томпсон. Для кого же этот магнитофон?» Хантер не отвечает. Он чувствует, как усталость, зарождаясь между лопатками, разливается по телу, вытирает пот со лба тыльной стороной ладони. Ленни выходит из-за кассы, наступает ногой на книгу, кладет маленький магнитофон Хантеру на колени. Он говорит: «Забирай. Мне он больше не нужен. Если передумаешь дарить, принесешь назад. Томпсон…», Ленни падает в кресло. Сидит и рассматривает свою мокроту в жестянке. Хантер прикасается к серебристому подкассетнику, он прохладный и гладкий. Ему хочется, чтобы Ленни еще что-нибудь сказал. Ему хочется, чтобы Ленни забрал магнитофон назад, хочется вернуться в свою комнату, в постель, в темноту. Ленни молчит. Капает вода. Где-то шуршит бумага, Хантер встает, берет магнитофон, идет к двери, говорит: «Большое спасибо». «Не за что», – говорит Ленни из глубины своего кресла-качалки, Хантер стоит спиной к нему, ждет, чувствует сердце, Ленни говорит: «Томпсон?», Хантер кашляет. Ленни говорит: «Придешь завтра, или послезавтра?», и Хантер говорит: «Конечно», отодвигает занавеску, открывает маленькую стеклянную дверь, слышит запах снега. «Я надеюсь…», – говорит Ленни, и Хантер выходит на холодную, темную улицу.

В холле «Вашингтон-Джефферсон» сидит Лич, читает «Дэйли Ньюз», не поднимает глаз от газеты. Хантер со спрятанным под пальто магнитофоном едет в лифте, идет по коридору, заходит в свою комнату, закрывает за собой дверь. Колени дрожат. Шесть часов сорок пять минут. В коридоре и в 95-м номере тихо.

Остается час. Через час она придет. Хантер сидит на стуле у окна и смотрит на платяной шкаф. Он завернул магнитофон в газеты и перевязал шерстяной нитью, магнитофон стоит теперь на столе и выглядит довольно смешно. Хантер отводит от него взгляд, идет к шкафу и достает оттуда свой костюм. Костюм черного цвета, пахнет пылью, брюки обвисли в коленях, рукава пиджака – в локтях, воротник блестит. Последний раз он надевал костюм на похороны мистера Райта, это костюм для вашингтон-джефферсонских похорон, и при мысли о том,

что он этот же костюм наденет сегодня вечером, Хантер разражается хохотом. Ему плохо. В желудке и вокруг сердца, и в ногах, он бросает костюм на кровать, оставляет горячую воду литься в раковину. Не будет он из-за этой девчонки мыться в общем душе. Он вообще не будет мыться, только побреется и причешет волосы, и все. Хантер очень медленно открывает глаза и смотрит в зеркало над рукомойником, маленькое, запотевшее, смотрит на свое лицо сквозь благородный белый налет испарины. Бреется он осторожно, слишком сильно дрожат руки, он порезал подбородок, не очень сильно, идет кровь, у нее какой-то нездоровый оттенок красного цвета. Хантер чувствует удушье. Делает глубокий вдох, подставляет запястья под холодную воду, считает про себя. Он слышит запах пены для бритья, мыла, мяты. Он останавливает кровь, прикладывая к порезу кусочек газетной бумаги, надевает костюм. Рукава слишком короткие, не хватает пуговицы. Хантер чувствует себя как во сне. Как лунатик. Он почти безразличен. Он зажигает сигарету, подтягивает штанины брюк и садится на край кровати. Кашляет. Семь часов сорок пять минут. Он ждет.

Квадратное небо между решеткой пожарной лестницы становится бледным, а потом чернеет. Моросит дождь. На тумбочке тикают часы, в батарее шумит вода, здание качает, в течение мгновения оно совершает какие-то странные, непривычные движения. «Как корабль», думает Хантер. «Как корабль, который покинул причал и уплыл далеко от берега. А я и не заметил». Все звуки теперь очень далеко. Стрелка часов делает круги, час, и еще один час, девушки нет, конечно, она не придет. Хантер ложится на кровать и улыбается, смотрит на потолок, на пятна и трещины, испытывая одновременно разочарование и облегчение. А что еще могло быть. Как бы все это выглядело, этот вечер в хорошем ресторане, язвительная улыбка официанта, в кармане мелочь, дрожащие руки, трудности с проглатыванием пищи. Они должны были бы о чем-то говорить. Он ничего бы не мог сказать, он бы только прислушивался к собственному пульсу, который стал бы учащаться, потом еще больше, а что потом? Хантер ложится на кровать и улыбается. «Время, – думает он, – время и время», часы показывают одиннадцать. Он натягивает одеяло на колени и поворачивается на бок, взгляд переходит с одного предмета на другой. Тепло. Усталость, тяжелая и приятная.

Примерно в полночь он вдруг слышит, как закрывают дверь 95-го номера. Хантер не услышал, как она пришла. Наверное, звуки были слишком непривычными. Он встает. Немного кружится голова, темнеет в глазах, а потом все проходит. Он снимает костюм, пиджак и брюки, все теперь помятое, он бережно вешает костюм обратно в шкаф. Стоит перед кассетами, Моцарт и Бах, грустный Шуберт и маленький, тихий и нежный Сати. Португальские песни и этот голос Дженис Джоплин, для которого он слишком стар, давно уже стар. Иногда, так, из озорства – Астор Пьяцолла. И этот американец из Калифорнии, черный, отвязный, страшный, похожий на птицу, Хантер слышал только одну его песню, Jersey Girl, она ему понравилась. И опять-таки Моцарт, и Шуман, а между ними пластинка Стивенса, она-то откуда? Рука Хантера скользит по коробкам с кассетами, он качает головой, смущенно улыбается. Музыка танго. Мария Каллас. Музыка и время, время, зимние путешествия, чужие, африканские песнопения, которые он купил на барахолке в районе Томпкинс-Сквэр, семь лет назад, или восемь, или десять. Хантер не плачет. Крутит в руках коробки, не может прочесть свой собственный почерк, джаз и лирика, голос Трумэна Капоте. Хантер достает из ящика маленькую коробку от обуви и укладывает в нее кассеты, все по порядку, одна к другой, некоторые неподписаны, но ничего, сама разберется. Ах, да, еще Гленн Гульд, кассета стоит в магнитофоне. Он достает ее и кладет в коробку, он ничего не забывает. Девушка стучит в дверь, так поздно, разве можно так поздно, Хантер закрывает коробку крышкой, ставит ее на пакет с магнитофоном, немного приоткрывает дверь и выталкивает все это в коридор.

Девушка говорит: «Ну, пожалуйста». Она вставляет ногу между дверью и стеной, Хантер выталкивает ее, произносит: «Счастливого рождества», закрывает дверь. Девушка, уже за дверью, еще раз говорит: «Ну, пожалуйста», говорит: «Мне очень жаль. Я знаю, я пришла слишком

поздно». Хантер приседает на корточки, ничего не отвечает. Он слушает, он слышит, как она поднимает коробку и сверток, открывает крышку, срывает с магнитофона газеты. «О!», – восклицает она. Коробки с кассетами тихонько постукивают, она говорит: «О, господи», и начинает плакать. Хантер закрывает руками лицо, нажимает пальцами на веки, пока на сетчатке не взрываются цветовые пятна. Девушка плачет в коридоре. Может быть она глупа. Может быть, она разочарована. Хантер прислоняет ухо к двери, голова у него тяжелая, он не хочет ничего больше слушать, и все-таки слушает. Девушка говорит: «Вы не должны это делать». Хантер говорит, очень тихо, он не знает, слышит ли она, но он говорит, скорее, себе самому: «Я знаю. Но я так хочу». Девушка говорит: «Спасибо». Хантер кивает.

Он слышит, как шуршит ее плащ, он из какой-то синтетики, наверное, зеленого цвета, она толкается в дверь, дверь не поддается. Она спрашивает: «Вы не хотите еще раз открыть?» Хантер качает головой. Она говорит: «Вопрос, последний вопрос, вы можете мне ответить на один вопрос?»

Да, – говорит Хантер в щелочку между дверью и стенкой, ему кажется, что там сейчас находится ее рот, тонкий, взволнованный, беспокойный. Она говорит: «Я хочу знать, почему вы здесь живете? Почему? Вы можете мне сказать?» Хантер прислоняет лицо к дверному косяку, чувствует, как оттуда сквозит, в комнату поступает холодный воздух., он снова закрывает глаза, говорит: «Потому что я могу отсюда уйти. Каждый день, каждое утро я могу упаковать свой чемодан, закрыть за собой дверь и уйти». Девушка молчит. А потом говорит: «Куда уйти?» «Это совершенно ненужный вопрос», – говорит Хантер. На дверь уже больше не давят. Шуршит плащ, кажется, девушка поднимается, сквозняка больше нет. «Да, – говорит она. – Я понимаю. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», – говорит Хантер, он знает, что она соберет чемодан, положит туда его магнитофон, его музыку и засветло покинет гостиницу.

Перевод с немецкого А. Мильштейна

Из средневековой японской поэзии

Кокан Сирэн
(1277–1346)

Осенним днем в полях гуляю

Мягкий песок, мелководье. Тропка бежит по откосу.
Звук, чуть похожий на прялку, слышится – вижу жилье.
Средь облаков желтоватых белые волны взлетают:
Это за рисовым полем пыльно гречиха цветет.

Сэссон Юбай
(1290–1346)

В начале осени

И я на земле только путник случайный.
Как годы бегут! О, как жизнь скоротечна!
Листва полетела – приблизилась осень,
Лишь ветер теплом на прощание дышит.
Вон снег забелел на вершинах Миньшаня.
Плыву по Вэньцзян – воды странно спокойны.
Причалю: цикад мне охота послушать,
Увидеть, как неба касается башня.

Дзякусицу Гэнко
(1290–1367)

Забрался в горы

В горах обитель – высоко-высоко.
Ни выгоды, ни славы не ищу; и бедность не томит и не печалит.
Забрался в горы и в укромном месте живу спокойно.
Годы на исходе… Немного зябко… Кто сейчас мой друг?
Цветенье слив, вся ветка обновилась. И все вокруг
освещено луною.

Брожу в горах

Весна. А я брожу в горах.
Как поредели волосы мои! Бегут к вискам серебряные нити.
Не знаю я, удастся, не удастся дожить еще до будущей весны.
Иду. Сжимаю посох из бамбука; соломенных сандалий
мягкий шорох.
Как много интересного вокруг! Повсюду, вижу, вишни
расцветают…

Дзэккай Тюсин
(1336–1405)

А впрочем, где-то есть гора Пэнлай

Горами горный храм от мира отделен,
Как он возник? Как здесь внезапно вырос?
На скатах скал растет прелестный ирис,
Жасмин взбегает медленно на склон.
Течет ручей. И ловит рыбу выдра…
Ну, где еще подобный встретишь край?
И мог бы – я другого бы не выбрал!
А впрочем, где-то есть гора Пэнлай.

Старый храм

Вход в старый храм, попробуй, отыщи!
Кустарником порос, обвит лозою.
Цветы упали с крыши после ливня…
И только птицы пеньем тешат слух.
Сиденье Будды поросло травой,
На постаменте стерлась позолота.
Не видно даты на плите надгробной:
Тан или Сун? – ответить трудно мне.

Итю Цудзё
(1348–1429)

Сочинил во время вечернего дождя у моста

Дырявый мостик. Дождь идет лениво.
Смеркается, хотя еще не вечер.
Рыбак в плаще стоит, слегка растерян.
Из-за реки звон колокола слышен.
Так тихо, грустно. Осень наступает.
Качнулся стебель водяного риса.
Песочный гусь проплыл неторопливо.
Вода прозрачна… Осень наступает.

Перевод Р. Заславского

Из итальянской поэзии

Винченцо Кардарелли

Венецианская осень

Холодное и сырое, на меня надвигается
дыханье осенней Венеции.
Теперь, когда лето
с его испариной и сирокко,
словно по волшебству, прошло,
жесткая сентябрьская луна
предвещая дурное,
освещает город из воды и камня,
что открывает свой лик медузы,
гибельно и заразно.
Мертвенна тишина затхлых каналов
под водянистой луной,
кажется, в каждом из них
покоится труп Офелии:
могилы, усыпанные разложившимися цветами
и прочей растительной гнилью,
где под плеск воды проплывает мимо
призрак гондольера.
О венецианские ночи —
без петушиного крика,
без шума фонтанов,
мрачные ночи в лагуне,
ничей нежный шепот не оживляет их,
зловещие завистливые дома,
отвесно стоящие над каналами,
спящие бездыханно,
сейчас, как никогда,
тяжесть ваша на сердце моем.
Нет здесь ни порывистых погребальных ветров,
как в сентябре в горах,
ни запаха срезанной виноградной лозы,
ни купаний заплаканных ливней,
ни шелеста листопада.
Пучок травы, желтеющий и умирающий
на подоконнике —
вот и вся венецианская осень.
Так, в Венеции, времена года бредят.
Вдоль ее площадей и каналов —
одни растерянные огни,

огни, грезящие о доброй земле,
душистой и плодородной.
Только зимнее кораблекрушение подобает
этому городу – не живущему,
не цветущему, —
если только он не корабль в глубине моря.

Перевод с итальянского Г. Киршбаума

Из немецкой прозы

Уве Копф

Алая буква

«Считай, что тебя трахнули». Этот сутенерский жаргон я слышу в Бамберге, в маленьком городе Верхней Франконии, от каждого здания которого веет поздним романтизмом и ранней готикой. Знатоки утверждают, что Бамберг – самый красивый город во всей Германии. Весной в особенности эта красота просто невыносима. Стало быть, последнюю весну уходящего тысячелетия я провожу в Бамберге, куда в свое время, тоже весной, сбежал поэт Томас Бернхард, которого я взял себе за образец во всем, что касается ненависти и повторяемости, он родился 9 февраля и умер 11 февраля, а мой день рожденья 10 февраля, точно как у Бертольта Брехта, это что-то да значит. Хотелось бы только знать, что именно. И вот я сижу в трактире на Лангенштрасе, в Бамберге, и вспоминаю, что эту фразу – «Считай, что тебя трахнули» – я последний раз слышал лет этак двадцать тому – фраза была модной среди людей, которые любили друг друга подогревать сексуально, особенно при свидетелях; я был уверен, что фраза давно отмерла – так же, как тип мужчин, которые использовали ее в своей речи, но вот там сидит этот тип, пьет пиво и говорит женщине за соседним столиком: «Считай, что тебя трахнули». Он похож на киноактера Хайнера Лаутербаха, в какой-то момент я даже подумал, что это он и есть, но нет, скорее, это просто поразительное сходство. Лаутербах мне стал уже сниться по ночам – так сильно я его презираю за все, что он делает и говорит со всей этой его так называемой «мужественностью».

Как раз прошлой ночью, в поезде, который вез меня из Гамбурга через Вюрцбург в Бамберг, мне снова приснился Лаутербах, и what a dream it was: Лаутербах был преступником, но не в кино, а в действительности: полиция и все население преследует Лаутербаха, газета «Бильд» на первой своей полосе повествует о злодеяниях Лаутербаха – тот крадет женские трусики в прачечных, натягивает их дома поверх своего трико, потом относит обратно, и дамы, надевая их, обнаруживают, что трусики почему-то стали велики. Специальный агент израильской разведки «Моссад» должен взять след Лаутербаха в лесу, агент – еврей, переодетый в Ясира Арафата, при этом еврей этот и сам преступник, у которого в рюкзаке лежит бутылка очень дорогого красного вина, – он украл ее из винного погреба ведущего телевизионной программы «Темы дня» Ульриха Виккерта – и вот так бредет еврей по лесу и вдруг видит на одной полянке людей, играющих в квача, выбегает полуголая женщина, ее трусики болтаются на бедрах, эхо доносит из леса знаменитый смех Лаутербаха, и когда женщина приближается к агенту Моссада, тот с ужасом замечает, что у нее лицо Йозефа Геббельса. В этот момент из кустов выбегают трое мужчин, это актеры Марио Адорф, Хайнц Рюман и Гетц Георг, они хватают Лаутербаха, бросают его на землю, срывают с его тела всю одежду и поют, показывая на него пальцами: «Нет пениса меньше, чем у Хайнера, об этом знает мама Баймера!», и так как это правда, Лаутербах тут же сходит с ума от стыда.

Сон не имеет никакой структуры, и вряд ли вообще что-то значит, но конец мне все же понравился, потому что я ненавижу Лаутербаха. После того, как двойник Лаутербаха, сидящий в Бамбергском трактире, сделал этот знак внимания женщине за соседним столиком, он берет себе еще одну кружку пива и какое-то мясное блюдо и режет кнедель ножом на маленькие кусочки… нельзя же так делать, за это я бы тоже дал ему пощечину, но не даю, – мужчина выглядит так, как будто на пощечину ответит нокаутирующим ударом.

Женщина, которой он сказал «Считай, что тебя трахнули», никак на это не реагирует, она продолжает пить яблочный сок, курит сигареты без фильтра и смотрит в пустоту. Ей, наверно, лет тридцать, чернота ее глаз вызывает шок, но Лаутербах сказал ей «Считай, что тебя трахнули», скорее всего, потому, что она крашеная блондинка, – мужчине наподобие Лаутербаха это само по себе должно казаться чем-то блядским.

Женщина склонна к полноте и слишком тепло одета, – сейчас конец марта, но здесь, в Бамберге, почти 20 градусов тепла, а на ней пальто, плотные джинсы, вокруг шеи – шарф, и на пальто слева, примерно на уровне сердца, вышита алая буква «А».

Такую букву «А» должна была носить на своей одежде Эстер Принн. Эстер – героиня романа Натаниеля Готорна «Алая буква», действие которого происходит в XVII веке в пуританской Новой Англии, и ярко-красная буква «А» означает «адюльтер», супружескую измену – Эстер родила ребенка не от своего мужа, и она отказывается называть подлинного отца. Женщина в Бамбергском трактире носит эту букву, как Эстер Принн, но при этом (во всяком случае, так кажется с первого взгляда) у нее нет гордости Эстер, ее силы и ее страсти – женщина кажется полной развалиной, несмотря на то, что она здорова. Вот она встает, кладет на стол пару монет, как бы между прочим трогает алую букву «А» на своем пальто и выходит из трактира, а Лаутербах, пережевывая мясо, смотрит ей вслед так, будто хочет сказать: «Уходишь, куколка, но мы еще встретимся, а впрочем – считай, что тебя трахнули!»

С меня довольно, такое чувство, что я задыхаюсь от характерного запаха, который распространяет вокруг себя Лаутербах, я плачу официанту за стойкой, и хотя я ни о чем его не спрашиваю, он говорит мне, что женщина с буквой – с приветом, хотя, впрочем, она никому ничего плохого не делает, только сидит тут все время и пьет яблочный сок, и никто не знает, что означает эта буква у нее на пальто. Некоторые мужчины (официант делает кивок в сторону Лаутербаха) предполагают, что у женщины СПИД, и она поэтому свихнулась и повесила эту букву «А» («Aids»), но ни один житель Бамберга не видел ее никогда с мужчиной, собственно, вообще с каким-то другим человеком – она живет уже очень давно в Бамберге, в полном одиночестве, в пансионе который находится в другой части города. Чаще всего она ошивается в «Хижине ведьмы», это такой кабачок на Нюрнбергштрассе.

Так как мне самому нужно найти себе какой-нибудь пансион, я принимаю решение пойти на Нюрнбергштрассе. В центре города, где находится Лангенштрассе, я не могу оставаться: студенты, повсюду студенты и студенческие кафе и бары, и магазины, в которых студенты покупают свою еду, свои книги и одежду, а Нюрнбергштрассе находится в мелкобуржуазном районе, куда студенты не ходят – поэтому туда иду я. Студенты завладели Бамбергом точно так же, как гомосексуалисты завладели Сан-Франциско, только район вокруг Нюрнбергштрассе свободен от студентов, и красоту Бамберга можно оценить только после двух часов ночи, когда закрываются все студенческие бары и студенты исчезают в своих комнатах, чтобы немного отдохнуть от своей студенческой жизни.

Кристоф Шлингензиф, режиссер и мастер перфоманса, заехал на два дня в город и собрал сегодня утром так же много студентов вокруг себя на Марктплац, как незадолго перед ним народный актер Гюнтер Штрак, который снимает в Бамберге криминальный сериал «Король» и взял сотни студентов в статисты. Но Шлингензиф обворожил бамбергских студентов своими докладами о том, как нужно изменить государственное устройство, – там, на площади, он раздавал открытки с изображением себя обнаженного, студенты их расхватали, потому что от Шлингензифа отдает улицей, андеграундом и революцией.

Студенты не видят, что Шлингензиф их презирает, и чтобы никто его с ними не спутал, скрывает свою яйцеголовость пышной прической и докладывает студентам об успехах и целях своей партии «Последний шанс», и студенты рукоплещут Шлингензифу, он для них спаситель, соединивший в своих чертах все лучшее от Джона Леннона и Хельге Шнайдер, от Иисуса Христа и Че Гевары. Он хочет поставить спектакль, в котором будут задействованы шесть милли-

онов безработных Германии, спектакль (как всегда у Шлингензифа) о крови, половых органах и о кукольных фашистах. Студенты Бамберга верят, что Шлингензиф силой и серьезностью всей этой бредятины может привести Германию к обновлению.

После своего выступления Шлингензиф сообщает, что он теперь направляется к Бамбергскому собору – чтобы вымазать спермой знаменитую скульптуру Бамбергского всадника. Тут же появляется полиция и арестовывает Шлингензифа за богохульство, а студенты разбредаются по домам – они достаточно трусливы, чтобы защищать своего любимого Шлингензифа от произвола полиции.

После этого перфоманса я оказался в трактире на Лангенштрасе, и там Лаутербах сказал женщине с красной буквой: «Считай, что тебя трахнули», и теперь, когда я гуляю по набережной Прегница, залитой вечерним солнцем, мне кажется, что у Лаутербаха есть какая-то тяга, ностальгия по смерти, потому что он трактовал букву «А» на пальто этой женщины как «Aids», и если Лаутербах говорит больной СПИДом: «Считай, что тебя трахнули», то это в высшей степени странно, нет?

Я прохожу по мосту к зданию Бамбергского суда, – здесь пять лет назад состоялся процесс против родителей, которые убили своего ребенка и выбросили его на мусорку. И вот уже я в «Хижине ведьмы» на Нюрнбергштрассе, заказываю две кружки пива Maisel Pilz, и когда мне их приносят, я выпиваю одну кружку залпом и заказываю третью, а уже после этого пью вторую, намного медленнее, чем первую, но только так (заказав две кружки, опрокинув одну, – и тут же заказав третью, и задумчиво попивая вторую), только так может небаварец снискать уважение баварцев.

Справа в углу сидит женщина с красной буквой, пьет сок, курит, смотрит в пустоту, через две минуты женщина снова уходит, а я спрашиваю у официантки, где находится ближайший пансион. Она советует мне «Красный конь» – он в двухстах метров, напротив мебельного магазина, и когда я регистрируюсь у портье «Красного коня», снимаю номер – для начала на три недели, – я вижу в буфете пансиона женщину с красной буквой, она ест бутерброд с вареной баварской колбасой, смотрит на меня, – эта женщина-руина вселяет в меня ужас, я не выдерживаю ее взгляда и секунды, и в своем номере на третьем этаже я ложусь на кровать и пытаюсь отвлечься от этой женщины, для чего я мобилизую все свое ожесточение, всю свою злобу на всех женщин без исключения, потому что женщины плохие, это точно, по крайней мере, со мной они ведут себя плохо, я пробовал все это с несколькими женщинами, с одной это было здесь, в Бамберге. Трагедия заключается в том, что женщины всегда стремятся меня уничтожить, хотя я принадлежу к так называемому типу «любимцев женщин», но не такому, как Хайнер Лаутербах – я похож на Марлона Брандо в той его фазе, когда он танцует последнее танго в Париже, и так же, как Брандо, я притягиваю женщин своей меланхоличностью и инфернальностью, а потом они снова убегают от меня, потому что чувствуют себя отравленными, – вот так я это объясняю.

Я лежу, чуть не плача, на кровати Бамбергского отеля «Красный конь» и вдруг слышу голос, он доносится из комнаты подо мной, – невозможно сказать, на каком языке говорят, точно так же, как нельзя сказать, мужчина это говорит, женщина, или ребенок. Кажется, что там кто-то стонет, что-то требует, без злобы и без нажима, и когда я концентрирую внимание на этом голосе, он умолкает, – я слышу только поскрипывание деревянных половиц, а потом ничего не слышу, засыпаю, но в полтретьего ночи голос снова возвращается, это женский голос, и требования теперь кажутся какой-то мольбой, но ничего сексуального в комнате подо мной не разыгрывается, голос охает и дрожит, как в лихорадке, и в какой-то момент я почти уверен, что слышу слово «ужас» и слово «любовь».

На следующее утро я встаю очень рано, в семь часов, спускаюсь по лестнице в буфет выпить кофе – и вижу женщину с алой буквой, она выходит из той комнаты, что находится под моей, и я хочу, наконец, знать, не Эстер ли это из романа Готорна. Я стою перед этой женщиной

и, опуская глаза, спрашиваю: «Эстер?», и она ничего не говорит в ответ. Когда мне удается поднять глаза, я вижу, что она не поняла и не могла понять, она понятия не имеет ни о какой Эстер, и с нарушением брачного закона эта женщина тоже не имеет ничего общего, и она не идиотка, и не подражает персонажам книг, но вот она что-то говорит мне, она говорит: «Нет. Я никого и ничего не боюсь. Если бы я боялась… я бы не узнала тогда этот ужас».

Через час я уеду из красивейшего города Германии Бамберга, хотелось бы только понять – куда.

Перевод с немецкого А. Мильштейна

Из латиноамериканской поэзии

Хорхе Луис Борхес

Трофей

Подобно тому, кто исколесил всё побережье,
удивлённый обилием моря,
вознаграждённый светом и щедрым пространством,
так и я созерцал твою красоту
весь этот долгий день.
Вечером мы расстались,
и в нарастающем одиночестве,
когда я шёл обратно по улице, чьи лица тебя ещё помнят,
откуда-то из темноты я подумал: будет и в самом деле
настоящей удачей, если хотя бы одно или два
из этих великолепных воспоминаний
останутся украшением души
в её нескончаемых странствиях.

Читатель

Другие хвалятся написанными страницами;
я же горжусь теми, которые я прочитал.
Я никогда не стану филологом,
не изучу всех тонкостей склонений и наклонений,
трудного изменения букв,
отвердевания «д» в «т»,
взаимозамены «г» и «к»,
но зато всю свою жизнь я исповедовал
страстную любовь к языку.
Мои ночи полны Вергилием;
знать и вновь забывать латынь —
мой настоящий удел, потому что забвение —
это одна из форм памяти, её тёмный подвал,
другая тайная сторона медали.
Когда в моих глазах померкли
призрачные любимые образы,
лица и страницы,
я взялся изучать язык железа,
которым пользовались мои предки, чтобы воспеть
свои клинки и одиночество, —
и сегодня, семь столетий спустя,

твой голос приходит ко мне
от пределов Ультима Туле, Снорри Стурулсон.
В молодости, читая книгу, я подчинял себя строгой дисциплине,
чтобы найти строгое знание;
в мои годы вся эта затея выглядит авантюрой,
граничащей с ночью.
Я не перестану расшифровывать древние языки Севера,
не погружу ненасытные руки в золото Сигурда;
задача, которую я поставил перед собой, безгранична,
и она пребудет со мной до конца,
не менее таинственная, чем Вселенная,
и чем выполняющий её ученик.

Границы

У Верлена есть строка, которую я не вспомню снова.
Поблизости есть улица, запретная для моих ног,
есть зеркало, взглянувшее на меня в последний раз,
есть дверь, которую я закрыл до конца света.
Среди книг моей библиотеки (я смотрю на них сейчас)
есть одна, которую я уже никогда не открою.
Этим летом мне исполнится пятьдесят.
Смерть изнашивает меня непрестанно.

Живущий под угрозой

Это любовь. Мне надо спрятаться или бежать.
Стены её тюрьмы растут, как в ужасном сне. Маска
красоты переменилась, но как всегда осталась единственной. Какую
службу мне теперь окажут эти талисманы: учёные занятия, широкая
эрудиция, знание тех слов, которыми суровый Север воспел
свои моря и стяги, спокойная дружба, галереи
Библиотеки, обыденные вещи, привычки, юношеская любовь
моей матери, воинственные тени мёртвых, безвременье ночи
и запах сна?
Быть с тобой или не быть с тобой – вот мера моего времени.
Кувшин уже захлёбывается источником, человек уже поднимается
на звук птичьего голоса, все те, кто смотрел сквозь окна,
уже ослепли,
но тьма не принесла умиротворения.
Я знаю, это – любовь: мучительная тоска и облегчение оттого, что
я слышу твой голос, ожидание и память, ужас жить дальше.
Это любовь с её мифами, с её мелкой и бесполезной магией.

Вот угол, за который я не отваживаюсь заходить.
Ко мне приближаются вооружённые орды.
(Это место жительства ирреально, и она его не замечает.)
Имя женщины выдаёт меня.
Женщина болит во всём моём теле.

Перевод с испанского А. Щетникова

Сесар Вальехо

Никто уже не живёт…

В доме никто уже не живёт, – говоришь ты, – все ушли. Гостиная, спальня, дворик обезлюдели. Никого уже нет; ведь все разъехались.

А я говорю тебе: если кто-то уходит, то кто-то и остается. Место, по которому прошёл человек, уже не одиноко. По-человечески одиноки лишь те места, где не проходил ни один человек. Новые дома мертвее старых, потому что их стены сложены из камня и железа, но не из людей. Дом появляется на свет не когда его завершают строить, но когда его начинают заселять. И живёт он единственно людьми, как и могила. Отсюда это непреодолимое сходство между домом и могилой. Но из них двоих один только дом питается смертью человека. Поэтому он – стоит, тогда как могила – распростёрлась.

В реальности все ушли из дома; однако в действительности все остались. И остаётся не память о них, но они сами. И даже не так, что они остаются в доме, но скорее так, что они по-прежнему пребывают в нём и через него. Действия и поступки покидают дом на поезде, на самолёте или на лошади, пешком или ползком. То, что по-прежнему пребывает в доме – это действующий орган, субъект герундия и обстоятельств. Ушли шаги; ушли поцелуи, прощения, преступления. То, что по-прежнему пребывает в доме – это ступни, губы, глаза, сердце. Отрицания и подтверждения, добро и зло рассеялись. То, что по-прежнему пребывает в доме – это субъект действия.

Желание утихло…

Желание утихло, хвост по ветру. Обрублена жизнь, внезапно и беспричинно. Моя собственная кровь разбрызгивает меня по женскому контуру и растекается по городу, разглядывая то, что так неожиданно прекратилось.

– Что случилось с этим сыном мужчины? – восклицает город, и ребёнок плачет от страха в одном из залов Лувра перед портретом другого ребёнка.

– Что случилось с этим сыном женщины? – восклицает город, и прямо на ладони одной из статуй времён Людовиков вырастает пучок травы.

Желание утихло на высоте поднятой руки. И я скрываюсь внутри самого себя, исподтишка подглядывая, спущусь ли я вниз или останусь мародёрствовать наверху.

Я буду говорить о надежде

Я страдаю от этой боли не как Сесар Вальехо. Сейчас мне больно не как художнику, не как человеку и даже не как простому живому существу. Я страдаю от этой боли не как католик, не как магометанин и не как атеист. Сегодня я просто страдаю. И если бы меня звали не Сесар Вальехо, я страдал бы от этой же самой боли. Если бы я не был художником, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был человеком или даже живым существом, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был католиком, атеистом или магометанином, я всё равно страдал бы от неё. Сегодня я страдаю вплоть до самых глубин. Сегодня я просто страдаю.

Сейчас мне больно без объяснений. Моя боль так глубока, что у неё уже нет ни причины, ни недостатка в причинах. И что служило бы её причиной? Где найдётся что-нибудь настолько важное, что оно могло бы оказаться её причиной? Ничто не служит её причиной; ничто не могло бы оказаться её причиной. Но каким образом эта боль зародилась сама по себе? Моя

боль порождена ветром юга и ветром севера, как бесполые яйца, которые некоторые редкие птицы сносят от ветра. Если бы умерла моя невеста, моя боль осталась бы той же самой. Если бы, в конце концов, вся жизнь пошла по-другому, моя боль осталась бы той же самой. Сегодня я страдаю вплоть до самых вершин. Сегодня я просто страдаю.

Я смотрю на боль голодающего и вижу, что его голод настолько сильно разнится с моим страданием, что если я уморю себя голодом, на моей могиле всегда вырастет хотя бы пучок травы. Так же обстоят дела и с влюблённым. Сколь животворна его кровь, чего не скажешь о моей, не имеющей источника и не находящей себе никакого употребления!

Ещё вчера я верил в то, что все вещи мира с необходимостью делятся на родителей и детей. Но моя нынешняя боль не относится ни к тем, ни к другим. Для заката ей не хватает спины, а для рассвета её грудь слишком велика; если её поместить в темноту, она не даст света, и если её вынести на свет, она не отбросит тени. Я страдаю сегодня, потому что страдаю. Сегодня я просто страдаю.

Перевод с испанского А. Щетникова

Из испанской поэзии

Хуан Рамон Хименес

Зимняя песня

Поют. Поют.
Где поют поющие птицы?

Дождь прошёл. Но на ветках
всё ещё нет листвы. Поют. Поют
птицы. В какой стороне
поют поющие птицы?

Клетки мои пусты.
Пуст птичий рынок. Но – поют.
А долина так далека. Никого…
Я не знаю, где поют

птицы – поют, поют! —
поют поющие птицы.

Нищие

Хотя бы то, что птичка
на лету прощебетала!..

– И розы аромат,
хранимый нежным взглядом!..

– И блеск небес,
что высох со слезинкой!..

«Несут золотые стрелы…»

Несут золотые стрелы
погибель лету. И воздух
прозрачной болью наполнен,
и кровь напоена ядом.

Всё – свет, и цветы, и крылья, —

уже готово к отлёту.
И сердце уходит в море.
О, сколько печали рядом!

Холодная дрожь и слёзы.
– Куда вы идёте? – Где вы? —
У всякого всякий спросит.
Ответ никому не ведом…

«Поэзия, рассветная…»

Поэзия; рассветная
роса; ночное
дитя; прохладная и чистая
истина последних звёзд
над хрупкой истиною
первого цветка!

Роса, поэзия;
рассветное падение небес на землю!

Утро в саду

Спящий младенец!

А в это время птицы поют,
качаются ветки
и улыбается огромное солнце.

В тени золотой
– столетие или мгновенье? —
спящий младенец
– вне всякой мысли
о мгновенном и вечном! —

А в это время птицы поют,
качаются ветки
и улыбается огромное солнце.

Актуальность

Безмерное сердце
в глубине каждодневного солнца

– дерево, пламенеющее на ветру —
единый плод лазурного неба!

Возвеличим – истину настоящего!

Любовь

Было сердце моё —
как лиловая туча
в закатном огне;
перекрученное, фиолетовое от боли,
пронзённое светом, пламенем, золотом!

Идеальное море

Маяк —
как голос ребёнка, что хотел бы
быть Богом; для нас почти незримый.
– Какая даль! —

И кажется,
что он зажжён не для таящих гибель
морей, но для зловещей бесконечности.

Творение

Изо дня в день, мои крылья
– землекопы, рудокопы:
тяжела кирка твоя, свет! —
погребают меня в белой бумаге…

– Восхожденье моё! – ну а отдых
в закатном грядущем!

…Чистым бессмертным жаром
взлечу над угольным солнцем,
преображённый!

Перевод с испанского А. Щетникова

Из ирландской поэзии

Сэмюэл Беккет

Cascando

1
«Превысив отчаянье…»

превысив отчаянье
слово
падения

чем выкидыш хуже бесплодия

ты ушла и время отяжелело
впору щипцами орудовать
тянуть из нутра постельного
жилы прошлой любви
глазницы в которых вроде твоих глаза
сейчас или никогда что лучше
черная пустошь забрызгала лица
говорящие
разве девять дней погубят любовь

а девять месяцев
а девять жизней

2
«Повторяю…»

повторяю
не научишь не научусь
повторяю есть последнее
из последнего
последняя мольба
последняя любовь
знание незнание притворство

последнее из последних слов
меня не любишь любим не буду
тебя не люблю любить не буду

в сердце опять опресноки слов
любовь любовь дряблая
истолчешь сыворотку
слов

испуганных
нелюбовью
любовью но не к тебе
любовью но не твоей
знанием незнанием притворством

я и все что полюбят тебя
если полюбят

3
«Если не полюбят…»

если не полюбят

«мой путь в текучих песках»

мой путь в текучих песках
возле горбатой дюны
летний дождь исхлестал мою жизнь
нахлынувшую и отступившую
к началу концу ли

покой в растаявшей дымке
когда не обиваю
эти длинные скользкие пороги

проживаю жизнь отмерянную двери
на ключ и настежь

«что бы я делал без этого мира безликого»

что бы я делал без этого мира безликого
где я длюсь мгновение где мгновение
в пустоту выплескивает неведение бытия
без этой пучины
где тело и тень вместе идут на дно
что бы я делал без тишины для шепота гибельной

одышка ли безумие вызволить возлюбить
без неба парящего
над свинцовой пылью

что бы я делал что делал вчера
в мертвом луче наблюдал двойника
он как я идущий несомый
в пространства скорченные
среди безгласия голосов
наполняющих мой кокон

Перевод с ирландского Г. Стариковского

Из польской поэзии

Ежи Групиньский

Антифона

С утра я
Уверовал снова
В наш стих
Помолись же и ты
И уверуй в меня
Вновь как в Слово

Апостроф

Крыло
Укрой меня убереги
Свинцовой буквы тяжесть
Дай подняться

Свет

Софии и Яну Серединским

Утром
Приподниму осторожно
Крылья-ресницы
Может быть не погибну
Светом сраженный
Может быть вправду
Удастся поднять
Этими крыльями
Мир освященный
Сияньем

Стихи из памяти

О прошлой нежности
Стихами белыми

Шаги твои звучали
Но их не слышали
Ни ты ни снег
Что засыпал следы

К читателю

Именно так
оживет эта крона

Деревом мертвым стоять
стиху моему
Покуда
листьев его не коснется
твой голос
твое дыханье

Письмо на подоконнике

…а еще напишу тебе: Встал на рассвете
Но не смог отыскать ничего
Интересного – все уже видел
Это зеркало это кресло

И рука не тянулась потрогать
Ни тарелки ни старых вещей
Проживающих здесь —
Ничего

Только шторки крахмал
Да оплавленный лампой зрачок
И лежит костенея
За окном помертвевший пейзаж

Перо

Перо усталость и бумага
и ничего не скажет мне
оконной рамы пустота
стучит печатная машинка
суетится

И только щедрая земля

насытившись телами новых
мертвых
мне отвечает жирным срезом
дымящимся и
липнущим к лопате

Плод

Поверь – все дерево трясется
Когда голодными губами
Впиваешься в набухший соком плод

Разговор со стеной

Перо и папирус
Не этот ли скрип
тебя разбудил
мой древесный
жучок?

Нелюбимая

Это мои косы
Но их не помнят
Твои руки
Их бы обрезать
Под самый корень
Но нет
Не заметишь даже
Разве что ненадолго
Стихнет боль в затылке
Сброшу все одежды
Что скажут
Эта грудь и упругость бедер
Но молчат притихли
Возьмите
Тепло рук
Озябшие вещицы
Или не умею —
Лишь отдерну пальцы
Стынут снова
Тускнеют
Только струйка

Промолвит терпеливо
Мое тело
Теплым
И тяжелым словом
Мне прошепчет
Про каждый сантиметр
Слышу и знаю
И понимаю
Опуская веки
Пред отраженьем
Боже мой
Взглядом случайным врастаю
В плоскость зеркальной тверди
В стеклянные капли
Впрочем все это я знаю
И стараюсь поведать
Но когда искушаясь
Сяду под люстру
К зеркалу чтоб начертать
Имя твое помадой
Взвизгнет стеклянное пекло
И я останусь на той стороне
С красным соцветием вен
На распятой руке
И рваным шрамом на горле
Снова – одна

Заклятье

словно заклятье
твержу я:
Твой запах
кружит мне голову
вшитым под кожу
черным цветком
бузины!

Перевод с польского В. Лаврова

Из аргентинской прозы

Мануэль Рохас

Заказаны, но не пойдут…

Переводы заказаны, но не пойдут. А почему? Ответы бывали разные. Чаще всего вообще ответов не было. Иногда работу оплачивали («Мужчина с розой» – рассказ известного аргентинского писателя Мануэля Рохаса), иногда предлагали за те же деньги перевести другие рассказы: изменялся состав сборника (Эвора Тамайо «Листок из свадебного альбома», «Капитан ждёт»). И если можно предположить, что сборник рассказов латиноамериканских писателей, куда входил рассказ Рохаса, не увидел свет из-за того, что издательство уже испытывало трудности с деньгами – было начало 90-х, то история с переводами кубинской писательницы Эворы Тамайо, была совсем иной Ну кто знал у нас как следует современную кубинскую литературу? А тут ещё следовало знать «кто есть кто» из писателей, кто за Фиделя, а кто в душе не очень. Поэтому, естественно, состав сборника сделали на Кубе, да и сами тексты тоже прислали: книжки и перепечатки. Делало сборник издательство «Художественная литература» (Москва). Раскидали работу по переводчикам. Мне досталась тоненькая книжечка «чёрного юмора» Эворы Тамайо. В ней были собраны довольно страшные и занимательные вещи, но перевести требовалось только два рассказа, да и те не самые «чёрные». Однако, очень скоро мне сообщили, что Эворы Тамайо в сборнике не будет (хотя работа была сделана и сдана), как и многих других писателей Состав перешерстили. Имена были теперь совсем другие. Должно быть на Кубе что-то тогда произошло.

Теперь я жалею, что не перевела хотя бы для себя (времена меняются!) остальные рассказы из тоненькой книжечки, которая куда-то запропастилась. А вот куда запропастилась сама Эвора, не знаю. Хотелось бы узнать.

Нина Снеткова

Мужчина с розой

Несколько лет назад под вечер в Осорно приехали монахи-капуцины: они собирались наставлять в истинной вере местных жителей.

Монахов было шестеро, все – настоящие мужчины, бородатые, крепкие лица энергичные, жесты вольные.

Бродячая жизнь наложила свою печать на этих вечных странников, и они ничуть не походили на монахов других орденов.

Тела шестерых бородачей закалились в постоянном соприкосновении в дикой природой юга во время долгих переходов через сельву, под яростными порывами ветра и проливными дождями, а лица утратили торжественную неподвижность, свойственную тем, кто проводит свои дни в тепленьком уединенном уголке уютного монастырского дворика.

Случай свел их в Вальдивии, куда они приехали кто откуда: из резерваций Анголы, из Ла-Империала, из Темуко, и уже все вместе они продолжили путь до Осорно, где целую неделю должны были исполнять свои миссионерские обязанности, а потом снова разъехаться по дорогам сельвы, неся слово евангельской проповеди.

Было их шестеро, все – настоящие мужчины, все бородатые.

Особенно привлекал внимание отец Эспиноса, ветеран миссионерской деятельности на юге, сорокапятилетний мужчина, высокий, крепкий, с виду деятельный, добрый и деликатный.

Был он из тех монахов, которые очаровывают некоторых женщин и нравятся всем мужчинам.

Самая обычная голова под шапкой таких черных волос, что по временам они даже отливают синевой, как перья у дроздов. Матовое смуглое лицо, скрытое пышной бородой, и капуцинские усы. Широковатый нос, яркий, свежий рот, черные блестящие глаза. Под одеждой угадывалось легкое мускулистое тело.

Жизнь отца Эспиносы была увлекательна, как жизнь всякого человека действия, как жизнь конкистадора, главаря разбойников или партизана. И от каждого из них было что-то у отца Эспиносы в его манере держаться, и ему в самый раз подошли бы воинские доспехи первого, плащ и конь чистых кровей второго, защитное обмундирование и автоматическое оружие третьего. Но хоть он и походил на всех троих и, казалось, в определенных условиях мог бы стать любым из них, был он совсем иным и резко от них отличался. Он был человеком чистой души, понимающим других людей, чутким, и вера его была пламенной и деятельной, а дух, чуждый всему низменному, был исполнен религиозного рвения.

Пятнадцать лет разъезжал он по местам, где жили индейцы-арауканы. Он наставлял их в вере, а они души в нем не чаяли. И спрашивал он и отвечал им всегда с улыбкой. Словно бы всегда говорил с такими же чистыми душами, как он сам.

Таков был отец Эспиноса, монах-миссионер, настоящий бородатый мужчина.

На другой день все уже знали о приезде миссионеров, и разнородная толпа, постигающая основы катехизиса, заполнила первый двор монастыря, в котором должна была проводиться миссионерская неделя.

Сельскохозяйственные и фабричные рабочие, индейцы, бродяги, сплавщики леса – все сходились сюда в поисках евангельской проповеди миссионеров, в надежде на нее. Бедно одетые, в большинстве своем босые или же в грубых охотах[1], кое-кто в одних рубахах да штанах, грязных и рваных от долгой носки, с отупевшими от алкоголя и невежества лицами; вся неопределенная фауна, выбравшаяся из соседних лесов и городских трущоб.

Миссионеры привыкли к своей аудитории и не оставались в неведении того, что многие из этих несчастных приходили сюда не столько обрести истину, сколько в надежде на их щедрость; но священнослужители за время своего миссионерского служения привыкли уже раздавать еду и одежду голодным и оборванным.

Весь день напролет трудились капуцины. Под сенью деревьев по углам двора сгрудились люди, отвечавшие как умели или как их учили, на простодушных вопросы катехизиса.

Где пребывает Господь?

На небесах, на земле и повсюду – отвечали они хором, с безнадежной монотонностью.

Отец Эспиноса, который лучше других владел местным наречием, наставлял в вере индейцев: ужасная задача, способная довести до изнеможения любого здоровенного мужчину, ведь индейцу не только трудно было воспринять суть наставлений, ему мешало еще и незнание испанского языка.

Но, тем не менее, все шло своим чередом, и к концу третьего дня, когда занятия с причастниками закончились, монахи приступили к исповеди. Группа людей, твердивших основы христианской доктрины, заметно поубавилась, многим ведь уже раздали одежду и еду, но народ все прибывал и прибывал.

В девять утра жаркого ясного дня началось шествие кающихся – они нитью тянулись от двора к исповедальням, неторопливо и в молчании.

[1] Охоты – сандалии из сыромятной кожи.

Солнце клонилось к закату, и большая часть верующих разошлась; отец Эспиноса в свободную минуту гулял по двору. Он уже возвращался к своему месту, когда какой-то мужчина остановил его, обратившись с просьбой.

– Я хотел бы исповедаться, отец мой, у вас.

– Именно у меня? – спросил монах.

– Да, у вас.

– Почему же у меня?

– Не знаю. Может быть, потому что вы старше остальных миссионеров и потому, возможно, самый добросердечный.

Отец Эспиноса улыбнулся.

– Хорошо, сын мой. Если ты этого хочешь и так думаешь, то пусть так оно и будет. Пошли.

Он велел мужчине идти вперед, а сам пошел следом, разглядывая его.

До этого времени отец Эспиноса его не примечал. Мужчина был высок ростом, стройный, движения его были какими-то нервными, лицо смуглое, черная острая бородка, глаза тоже черные, горящие; изысканно очерченный нос и тонкие губы. Говорил он правильно и одет был чисто. На ногах у него были охоты, как и у других, но сами ноги казались ухоженными.

Когда они подошли к исповедальне, мужчина опустился на колени перед отцом Эспиносой и сказал:

– Я попросил вас меня исповедовать, потому что уверен, что вы человек больших познаний и очень рассудительный. Я не отягощен смертными грехами, и совесть моя относительно чиста. Но сердце мое и разум хранят ужасную тайну, и это чудовищный груз. Мне нужно, чтобы мне помогли от него освободиться. Поверьте тому, в чем я вам сейчас признаюсь, и очень прошу вас, пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я уже много раз пытался исповедаться другим миссионерам, но они, с первых же моих слов, отталкивали меня, сочтя безумным, и насмехались надо мной. Я очень из-за этого страдал. Теперь последняя попытка. Если и теперь будет все так же, то я смогу убедиться, что спасения мне нет, и мой ад останется со мной.

Мужчина говорил нервно, но убежденно. Редко случалось отцу Эспиносе слушать такие речи. Большинство из тех, кто исповедовался в миссиях, были примитивными созданиями, грубыми, без искры божьей, и сообщали они ему самые заурядные грехи, многим присущие, грехи плотские, а не духовные.

Он ответил мужчине, придерживаясь его же стиля речи.

– Скажи мне то, что тебе нужно сказать, и я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Доверься мне как брату.

Мужчина немного помедлил, прежде чем начать свою исповедь, казалось, он боялся выдать великую тайну, которую, по его словам, хранил в сердце.

– Говори.

Мужчина побледнел и посмотрел пристально на отца Эспиносу. В полутьме его черные глаза сверкали как у заключенного или безумца. Наконец он склонил голову и, стиснув зубы, проговорил:

– Я практикуюсь в черной магии и знаю ее тайны.

Услышав такие необычайные речи, отец Эспиноса жестом выразил свое изумление, глядя на мужчину с любопытством и страхом; но мужчина уже поднял голову и пристально глядел монаху в лицо, желая знать, какое впечатление произвели его слова. Изумление миссионера длилось всего несколько секунд. Он сразу же успокоился. Не в первый раз приходилось ему слышать о том же самом или о чем-нибудь подобном. В то время равнины вокруг Осорно кишмя кишели ведьмами, знахарями и колдунами.

– Сын мой, – ответил он, – нет ничего удивительного, что священники, услышав от вас то, что вы только что сказали, принимали вас за безумного и отказывались слушать далее. Наша религия категорические осуждает подобные занятия и подобные верования. Как священник, я

обязан вам сказать, что это тяжкий грех, но как человек говорю вам, что все это – глупости и обман. Никакой черной магии не существует, и нет человека, который мог бы что-либо совершить, что шло бы вразрез с законами природы и Божьей волей. Многие люди исповедовались мне в том же, но на поверку, когда их просили проявить свои оккультные знания, оказывались грубыми и невежественными обманщиками. Только повредившийся в уме или вовсе дурак какой может верить подобному вранью.

Говорил он резко, и этой речи было бы вполне достаточно, чтобы иной человек отступился от своих намерений; но к великому удивлению отца Эспиносы, его речь только вдохновила мужчину, он поднялся с колен и убежденно воскликнул:

– Так ведь я только и прошу вас разрешить мне показать то, в чем я исповедуюсь. Я вам покажу, вы саму убедитесь, и я обрету спасение.

И добавил:

– Если я предложу сделать опыт, вы согласитесь, отец мой?

– Знаю, что только время потеряю, к сожалению, но все равно – я согласен.

– Очень хорошо, – сказал мужчина. – Что бы вы хотели, чтобы я сделал?

– Сын мой, я же не знаю твоих магических возможностей. Сам предлагай.

Несколько мгновений мужчина размышлял. Потом сказал:

– Попросите меня принести вам что-нибудь, что находится далеко отсюда, так далеко, что за день или за два невозможно добраться туда и вернуться обратно.

Свежие губы отца Эспиносы тронула недоверчивая улыбка.

– Дай-ка подумаю, – ответил он, – и да простит мне Господь этот грех, эту дурость, на которую я иду.

Монах долго молчал, обдумывая, что бы ему предложить принести. Не так-то легко было придумать. Сперва он мысленно перенесся в Сантьяго, в то помещение, из которого он сейчас попросит что-нибудь взять и принести сюда, потом он стал выбирать этот предмет. Самые разные вещи приходили ему на память, возникали в воображении, но для этого случая все они не подходили. Некоторые – повсюду встречались, другие казались ему какими-то детскими, иные – слишком личными, а необходимо было выбрать одну вещь, одну-единственную, которая была приемлема. Он припомнил и внимательно осмотрел свой далекий монастырь, прошелся по его дворикам, по кельям, по коридорам и по саду, но не обнаружил ничего подходящего. Потом принялся вспоминать знакомые места в Сантьяго. Что бы попросить? И когда он, уже изрядно утомившись, готов был решиться на какую-нибудь из всплывших в его памяти вещей, в его памяти вдруг всплыла, расцвела, словно цветок – но она и в самом деле была цветком! – свежая, чистая, дивного красного цвета роза из сада монахинь-кларисток.

Как раз совсем недавно он увидел в одном из уголков этого сада куст, покрытый розами удивительного красного цвета. Нигде не видел он таких или подобных им роз, и трудно было предположить, что таки росли и здесь, в Осорно. Но ведь мужчина утверждал, что принесет любую вещь, которую он попросит, не покидая этих мест. Тогда все равно, что просить. Он ведь, в конце концов, не принесет ничего.

– Знаешь, – сказал наконец отец Эспиноса, – в саду у монахинь-кларисток в Сантьяго, возле той стены, что выходит на Ала-меду, растет розовый куст, розы на нем очень красивого гранатового цвета. Только один такой куст там и растет. Мне хотелось бы, чтобы ты принес розу с этого куста.

Предполагаемый волшебник ничего не спросил ни о тех местах, где растет роза, ни о расстоянии до них, только спросил:

– А когда я залезу на стену, мне легко будет сорвать эту розу?

– Совсем легко. Протянешь руку, и роза уже у тебя.

– Очень хорошо. Теперь скажите, есть ли здесь, в монастыре, комната с одной дверью?

– Здесь много таких комнат.

– Отведите меня в такую комнату.

Отец Эспиноса поднялся с места. Улыбнулся. Приключение превращалось в странную и забавную игру, чем-то напоминавшую игры его детства. Выйдя вместе с мужчиной, он повел его во второй двор, где находились кельи монахов. Привел в свою комнату. Не слишком просторная, с толстыми стенами, с одним окном, одной дверью. Окно забрано толстой кованой решеткой и на двери – крепкий замок. В комнате стояли кровать и большой стол, были там и два образа, распятье, одежда и разные предметы обихода.

– Входи.

Мужчина вошел. Держался он непринужденно, свободно и казался человеком, вполне в себе уверенным.

– Подходит тебе эта комната?

– Подходит.

– Скажешь, что надо сделать.

– Прежде всего, который час?

– Половина четвертого.

Подумав мгновенье, мужчина сказал:

– Вы меня попросили принести розу из сада монахинь-кларисток в Сантьяго, и я вам ее принесу через час. Для этого мне надо остаться здесь одному, а вы уйдете, запрете дверь на ключ, и ключ возьмете с собой. Возвращайтесь точно через час. В половине пятого вы откроете дверь, и я вручу вам то, что вы попросили.

Отец Эспиноса молча кивнул головой. В нем нарастало беспокойство. Игра становилась все более увлекательной, таинственной, а уверенность, с какой говорил и действовал этот мужчина, придавали ему четно пугающее и внушающее уважение.

Прежде чем выйти, отец Эспиноса внимательно оглядел все вокруг. Если дверь заперта на ключ, выйти из комнаты невозможно. А хотя бы и удалось мужчине выйти, что бы он стал потом делать? Нельзя сотворить искусственным путем розу, форма и цвет которой тебе не ведомы, и ты никогда эту розу не видел. И с другой стороны, весь этот час он будет кружить вокруг своей кельи. Обман был невозможен.

Мужчина стоял у двери и, улыбаясь, ждал, когда монах уйдет.

Отец Эспиноса вышел, вынул ключ из замочной скважины, убедился, что дверь крепко заперта и, спрятав ключ в карман, стал спокойно прохаживаться.

Обошел двор раз, другой, третий. Минуты ползли медленно; никогда еще не уползали так медленно шестьдесят минут одного часа. Сначала отец Эспиноса был спокоен. Ничего не произойдет. Когда пройдет назначенное мужчиной время, он откроет двери и найдет его таким же, каким и оставил. Не будет в его руке ни той розы, что он просил, ни чего бы то ни было похожего на нее. Мужчина постарается оправдаться, придумать какой-нибудь ерундовый предлог, и тогда он продолжит свою краткую проповедь и тем всему будет положен конец. Но пока отец Эспиноса прогуливался, он спросил себя: «А что он там делает?»

Вопрос его ужаснул. Ведь что-то этот мужчина делал, пытался делать. Но что? Беспокойство, охватившее его, усилилось. А если мужчина обманул, если у него были совсем другие намерения? Прервав прогулку, отец Эспиноса попытался что-то уяснить, припоминая этого мужчину и то, что он говорил. А вдруг он безумный? Сверкающие, горящие глаза этого человека, кто его знает, в себе он или нет, тем более, как судить о его намерениях…

Отец Эспиноса медленно пересек двор и пошел по коридору, где находилась его келья. Несколько раз прошелся мимо запертой двери. Что может там делать этот мужчина? Проходя вновь мимо двери, он остановился. Ничего не было слышно, ни голосов, ни шагов, ни шума. Он подошел к двери и приложил ухо к замочной скважине. Полная тишина. Он снова принялся ходить по коридору, но мало-помалу его беспокойство, его испуг стали все усиливаться. Он уже не отходил далеко от двери, под конец – не более чем на пять-шесть шагов. И вот он замер

перед дверью. Почувствовал, что не в силах отойти от нее ни на шаг. Необходимо было немедленно покончить с этим нервным перенапряжением. Раз человек там, за дверью, не говорил, не стонал, не двигался – значит, он ничего и не делал, а раз он ничего не делал все это время, то он ничего и не добудет. Отец Эспиноса решил открыть дверь, не дожидаясь условленного срока. Он застанет этого мужчину врасплох, и это будет эго полной победой. Поглядел на часы: до половины пятого оставалось еще двадцать пять минут. Прежде чем открыть, он снова приложил ухо к замочной скважине: ни звука. Нашел в кармане ключ и, вложив его в замочную скважину, неслышно повернул. Дверь беззвучно подалась.

Отец Эспиноса заглянул внутрь комнаты и увидел, что мужчина не сидел и не стоял: он лежал, распростершись на столе, недвижимый, ногами к дверям.

Эта неожиданная его поза изумила отца Эспиносу. Что мог делать этот мужчина, находясь в таком положении? Отец Эспиноса шагнул в комнату, с любопытством и ужасом глядя на распростертое на столе тело. Безусловно, его присутствие не было замечено; может быть, человек спал, может быть, он был мертв… Отец Эспиноса шагнул еще, и тут-то увидел такое, от чего застыл, как и лежавшее на столе тело. Человек был без головы.

Отец Эспиноса побледнел, почувствовал стеснение в груди, весь покрылся холодной испариной и все смотрел, смотрел, ничего не понимая. Он превозмог себя и подошел к верхней части тела этого существа. Посмотрел не пол, ища там исчезнувшую голову, но на полу ничего не было, не было даже пятнышка крови. Он подошел к обрубленной шее. Человек был обезглавлен без усилия, ничто не было разорвано, очень тонкая работа. Виднелись сосуды и мускулы, трепещущие, красные; белые чистые кости; пульсировала кровь, горячая и красная, она не выливалась, удерживаемая неведомой силой.

Отец Эспиноса выпрямился. Окинул быстрым взглядом все вокруг, искал хоть какого-нибудь следа, какого-нибудь признака, который помог бы угадать, что здесь произошло. Но все в комнате оставалось на тех же местах, что и в тот момент, когда он ушел; повсюду порядок, ничто не разрыто, ничто не испачкано кровью.

Он поглядел на часы. До половины пятого оставалось всего десять минут. Пора было уходить. Но прежде чем уйти, он решил, что надо обязательно оставить какое-нибудь свидетельство о том, что он здесь побывал. Но что? Тут его осенило: порывшись в одежде, он вытащил большую бритву с черной ручкой и, проходя мимо тела по дороге к дверям, глубоко вонзил ее в подошву лежащего на столе человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.